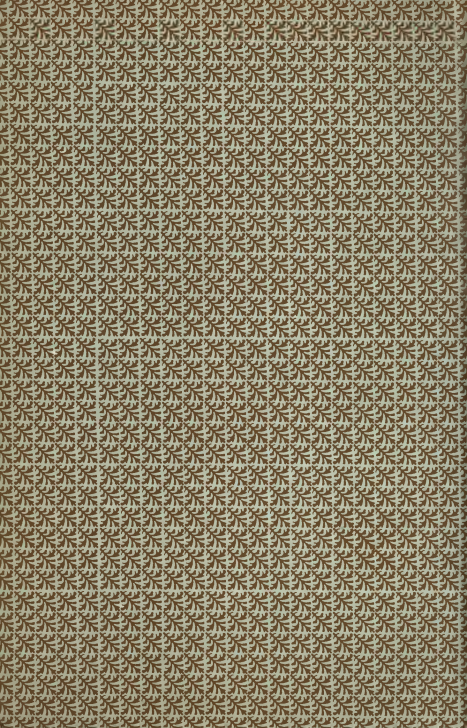
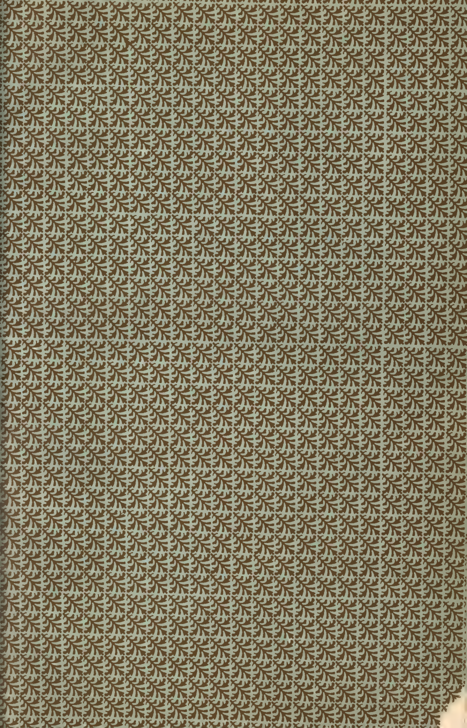
НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Фарит Исангулов

ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ





НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Фарит
Исангулов

ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с башкирского
Михаила Чванова

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1986

84Башк7
И85

Рецензент
В. С. ВАСИЛЕВСКИЙ

Оформление художника
А. КИМА

Иллюстрации художника
М. ЕРМОЛОВА

Исангулов Ф. А.

И85 Все остается на земле: Повести и рассказы / Пер. с башк. М. Чванова; Худож. М. Ермолов. — М.: Современник, 1986. — 174 с., ил. — (Новинки «Современника»).

В новый сборник Фарита Исангулова — видного представителя башкирской прозы, лауреата республиканской премии имени Салавата Юлаева, вошли короткие повести и рассказы, посвященные башкирской деревне. Повесть «Все остается на земле» — о судьбе коммуниста-фронтовика, личности цельной, нравственно чистой и честной. В повести «Пахарь» глубоко раскрыта поэзия труда хлеборобов, любовь крестьян к родной земле. Автор хорошо знает жизнь и в своих произведениях выступает художником думающим, серьезным, со своим видением мира, со своим кругом интересов и проблем.

И $\frac{4702110000-345}{М106(03)-86}$ 246—86 ББК 84Башк7


ПОВЕСТИ

ПАХАРЬ

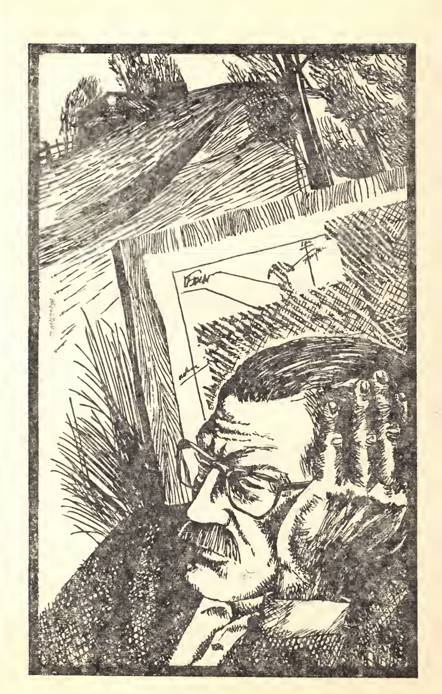
1

За окном нехотя угасал жаркий день. У перекрестка как всегда в это время, появились старухи с тяжелыми влажными снопами цветов. Автомобильный поток стал еще гуще и ярче от увязших в нем частных «Жигулей». Отсюда, сверху, эти машины на расплавленной полосе асфальта казались Муратову разноцветными букашками, безнадежно пытающимися оторваться от ленты-липучки. За годы городской жизни шум летней улицы стал для него привычным и почти не раздражал, хотя для того, например, чтобы поговорить по телефону, надо было закрывать окно. Но сегодня шум беспокоил его: может быть, давала себя знать скопившаяся за неделю усталость, а может, потому, что мысленно он был уже далеко от городской сутолоки.

Тауфик Муратович подошел к карте Башкирии, которая, казалось, срослась со стеной кабинета — многие привыкли к ней настолько, что почти не замечали ее. У Муратова же этот своеобразный графический «портрет» республики, очертаниями своими напоминающий сердце, всякий раз поднимал внутри какую-то теплую волну, словно он, стоя рядом, и в самом деле чувствовал биение ее жизни, видел, как пульсируют голубые артерии рек — кровеносная система земли. Цветные лоскутки с кружками и черточками на них давно утратили для него чисто географический смысл: немало поездив по районам, Муратов хорошо знал их особенности, природу, проблемы. Но один зеленый клочок величиной с ладонь был ему особенно дорог — здесь, в этих местах, он родился.

Цепкая память детства хранила в себе звуки, краски, запахи родной земли, и часто у карты он представлял себя тем босым мальчишкой, который бежал по холодной росе навстречу розовому свету, разливающемуся над дальним полем. То был миг необъяснимого счастья, очарования, насквозь пронзающего детское сердце. Он останавливался, завороженный красками рассвета, и слушал величественные и трепетные звуки.

Сотворенная самой природой и пока еще никем не по-



ложенная на ноты, мелодия утренней зари воспринималась не столько слухом, сколько особым состоянием души, которое мог испытать только очень чуткий и тонкий человек.

С тех пор картина рассветной зари часто вставала перед глазами Тауфика Муратовича, и он был благодарен судьбе за эту память, вливающую в него силы в трудные моменты жизни.

Великая вещь — память! И все-таки она не спасала от ностальгии детства: все чаще хотелось наяву услышать мелодию утренней зари, оставшуюся в той далекой поре...

Ему уже перевалило за пятьдесят, научная работа, служебные дела и повседневные заботы, казалось, поглощали его целиком, но по вечерам, возвращаясь домой, он иногда думал о том, что интересно было бы узнать, по какому пути летят современные гуси... Или услышать журавлей... Или пойти полем при полной луне, которую здесь, в большом городе, и не сразу-то заметишь в свете ярких фонарей. Не сиротеет ли без всего этого душа? Не черствеет ли, когда человек забывает землю, где впервые увидел рождение зари? Один его приятель любил повторять с грустной улыбкой: «Дорога в родной аул — всегда самая долгая». И в словах его была своя неутешительная правда. Пожалуй, это стало даже приметой времени: меньше всего уделять внимания самым близким и дорогим людям, а недолгие дни отпуска проводить на чужих раскаленных пляжах, подальше от той сторонки, где бегал когда-то босиком.

Вот и он... Как же могло случиться, что за столько лет бывал в родных местах лишь проездом? Или наскоком — проведать мать, оставить гостинец и — в какой уж раз — тщетно пытаться забрать ее в Уфу, если не насовсем, так хотя бы на зиму... Все впопыхах. А ведь до его деревни на машине доехать — только раз за дорогу пить захочешь!.. Некогда было толком поговорить не то что с земляками — с братом. Но родные не обижались за краткость встреч, по-своему оправдывая его: человек занятой, не кто-нибудь — ученый, известный на всю республику специалист по сельскохозяйственным машинам!

После таких «визитов» Муратова долго не покидало чувство вины — перед самим собой, перед землей, на которой вырос, словно в спешке он надрывал связывающие с ней корни. Хотя это было не так. Став горожанином, он по-прежнему оставался крестьянским сыном, кому были близ-

ки все трудности хлеборобского дела. Конечно, и они теперь не те, что прежде, — изменилось время, изменилась деревня, — а вот хлеб и сегодня никому не дается легко. Механизации больше, да. По производству комбайнов вышли на первое место в мире. Но ведь надо, чтобы и технический уровень машин был как можно выше. А тут далеко до благополучия — это он знал как специалист. Есть и другая сторона, над ней задумались не так давно, — экологическая. Взять хотя бы его район: казалось, щедрые черноземы всесильны и никогда не истощатся. Ан нет, время опровергло этот голый оптимизм. Получается, что они-то первыми и страдают от бездумно-усердного возделывания. Теперь и пахать, и культивацию проводить надо не просто вовремя, а умно и бережно, со знанием местных природных особенностей, имея надежную технику.

Последние годы Муратов занимался именно обеспечением надежности почвообрабатывающих машин в любых погодных условиях. Некоторые усовершенствованные детали необходимо было увидеть непосредственно в работе, послушать замечания и советы механизаторов. Узнав, что очередные испытания решено провести в его родном районе, Тауфик Муратович волновался и радовался одновременно.

...Он не изменил своей привычке, хотя маршрут предстоящей командировки был уже известен, и даже напротив, дольше обычного задержался у карты. Завтра... Все будет завтра...

Выехали рано, когда солнце еще путалось в кронах деревьев, словно они не давали ему оторваться от горизонта, и по холодку, по хорошей дороге как-то незаметно добрались до места.

Райцентр неузнаваемо изменился, в его облике явно проступали городские черты. И только улица у озера, где жили Муратовы, оставалась по-деревенски тихой и уютной. В густой зелени садов и палисадников прятались большие крепкие дома, словно стремящиеся перещеголять друг друга резными наличниками, крашенными в ослепительные цвета. У многих к обычным воротам примыкали створчатые воротца гаражей, которые, как и основательные надворные постройки, свидетельствовали о достатке.

Машина еще не успела притормозить, когда распахнулась калитка, и навстречу выбежала мать.

— Бэрэмэс! [1] Тауфик приехал! — всплеснула руками. — Наконец-то! — И добавила, стараясь засмеяться сквозь слезы: — Как бы солнце завтра не взошло с другой стороны!

Еще подвижная и легкая на ходу, она по привычке шутила, но только сейчас, обнимая ее худые поникшие плечи, Муратов со всей остротой почувствовал, как постарела мать, как мало осталось в ней сил, на которых когда-то держался их дом. И чтобы скрыть подступивший к горлу комок, он притворно торопливо стал доставать из багажника вещи.

— Проходи, проходи, — мать слегка похлопывала по спине переступившего порог шофера Ваню. — Скоро и Кинзягул на обед на своем матае [2] притарахтит. Днем-то я одна. Он — в поле. Невестка — в канцелярии счетоводом. Ребятишки — кто где: двое — в лагере, один — в детсаду, другой — у сватов гостит... — Суетливость ее движений уже сменилась привычной ловкостью. Подхватив самовар, она поставила его к печи и начала раздувать. — Я сейчас... А вы пока водичкой из колодца освежитесь.

Колодец был на прежнем месте, только журавель исчез. Вместо него — насос, прямо на колодезном срубе, — нажимай кнопку и качай. И рукомойник тут же, на заборе. Тауфику Муратовичу сразу вспомнилось, как отец выносил его на улицу еще перед Первомаем и, пока не ляжет снег, до Октябрьского праздника, в дом не убирал. Все это время, невзирая даже на холодный осенний дождь и первые заморозки, когда вода уже начинала подергиваться льдом, умывался во дворе и туда же выгонял детей. Может, поэтому они росли крепкими, не зная насморка и простуды.

Этот рукомойник был частью той самой жизни, с какой незримыми нитями связывала его память. Так же как и бархатная гусиная травка — спорыш, густым зеленым ковром покрывавшая тогда весь двор Муратовых. Набегавшись за день, он растягивался на ней, всем телом ощущая ласковую прохладу зелени, вдыхал ее влагу и словно набирался свежих сил.

А по вечерам, управившись по хозяйству, Муратовы

[1] Возглас удивления (*междомет.*).
[2] Мотоцикл (*простореч.*).

расстилали на траве домотканый палас, мать выносила из летней кухни миску дымящейся молодой картошки, и семья усаживалась ужинать. Уже сгущались над селом сумерки, стихали звуки, и только слышно было, как рядом, в хлеву, сытно жует свою жвачку корова. Неторопливые разговоры, слабо мерцающие искорки первых звезд на фиолетовом небосводе — ни с чем не сравнимые мгновенья счастья...

Порой в городе эта щемящая картинка детства как наваждение вставала у Тауфика Муратовича перед глазами, и он мечтал о том, как однажды бросится в мягкую траву-мураву и разом стряхнет с себя груз минувших лет.

Однако в предыдущий приезд он не увидел во дворе не то что бархатистого спорыша — даже какого-нибудь завалящего или особенно живучего сорняка — все было вытоптано скотом. Да что двор — проезжая часть улицы превратилась в сплошное месиво: тракторы и машины, оставляя после себя колеи и рытвины, напрочь увязали в этой грязи в распутицу. На улице не было ни клочка здоровой земли, за который могла бы зацепиться корнями трава.

Тогда вид обезображенной улицы и голого двора удручающе подействовал на Муратова, он все ходил за братом и говорил, то возмущаясь, то предаваясь воспоминаниям. Кинзягул слушал молча, не перебивая. Он и сам терзался тем, что с каждым днем деревня все больше теряет свое лицо, непреходящее очарование и притягательность которого — в зеленых дорогах, тихом уюте дворов, желтоглазых «фонарях» подсолнухов, наполняющих улицы особым, теплым, светом.

...На сей раз угольно-черные брови Тауфика Муратовича удивленно изогнулись, и в следующий миг он, раскинув руки, упал лицом в живую прохладу, щедро устилающую двор.

Мать снова всплеснула руками:

— Вай, Тауфик!.. Как маленький... Ну что ты делаешь, вставай скорей, костюм испачкаешь!..

Какое счастье лежать вот так, как в детстве, и знать, что ты — дома! И ничего не надо больше. Все-таки молодец Кинзя, все обустроил: скотина теперь через другие ворота заходит сразу в хлев. А от калитки к самому крыльцу — асфальтовая дорожка, кругом цветы. Яблони посадил... Вон и на улицах, мать говорит, теперь порядок: тракторам въезд запрещен, а осенью и весной, в ненастье, — даже автомобилям. Оказывается, стоит только

захотеть — совсем нетрудно вернуть сельской улице ее первозданную прелесть, глядишь, и молодежь больше будет ценить природу и родные места.

Тауфик Муратович и шофер отдыхали, попивая айран [1]. Мать, несмотря на годы, еще проворная, быстро спустилась в погреб, достала большую чашку каймака [2] и тут же, засучив рукава, стала сбивать масло, охлаждая его колодезной водой. «Интересно, — с улыбкой подумал Тауфик Муратович, наблюдавший за матерью, — что получится, если проделать все это с городской сметаной? Ведь пока она доходит до стола, чего только не натерпится!..»

— Ой, деверь мой, оказывается, приехал! — распахнулась калитка, и к нему чуть ли не бегом бросилась невестка. — А я, как увидела, что чужая «Волга» сворачивает, подумала: не к нам ли?.. Едва дождалась перерыва...

Мать четверых детей, она еще продолжала молодиться и то и дело кокетливо поправляла пышные каштановые волосы, платье, едва прикрывавшее колени, поясок, подчеркивающий довольно аккуратную талию. В доме первым делом подошла к зеркалу, легким, почти незаметным движением провела рукой по разлетным бровям, а потом так же быстро и несуетно принялась за дела, начатые свекровью.

Прямо напротив открытого окна, пофыркивая, остановился мотоцикл. Сквозь буйство цветов на подоконнике Тауфик Муратович пытался разглядеть, кто же приехал, но тяжелые сапоги уже прогромыхали по крыльцу, и в дверном проеме застыл, оглядывая свою промасленную одежду, Ҡинзя Муратов.

— Чеѓо испугался, Ҡинзягул? — Муратов-старший шагнул навстречу брату и, еще не успев обнять, почувствовал, как Ҡинзягул буквально сгреб его в охапку своими огромными ручищами. А мать, словно клуша возле цыплят, квохтала, не зная, как расцепить сыновей.

— Ҡинзя, тебе говорю!.. Ҡостюм испачкаешь... Ему еще в ырайкум [3] надо!..

Даже не присев, Ҡинзягул без слов, взглядами объяснившись с женой, тут же исчез.

Примерно через час он уже извлекал из люльки мотоцикла перепуганного, со спутанными ногами, барана.

---

[1] Кислое молоко, разбавленное холодной водой.
[2] Домашняя сметана.
[3] Райком *(простореч.)*.

Спустил в погреб увесистую хозяйственную сумку — на вечер пригласили гостей.

На крыльце послышались чьи-то шаги, и женский голос прямо с порога негромко окликнул невестку. Тауфик Муратович, сидя, оглянулся: в дверях стояла незнакомая сухощавая женщина. Он поздоровался издали и, вновь принявшись за чай, вдруг понял, что когда-то уже слышал этот голос. Кровь мгновенно прилила к лицу: как же так, не узнал!.. И, еще не успев подумать, удобно это или нет, он, обычно медлительный в движениях, стремительно для своей крупной фигуры поднялся из-за стола и оказался возле чулана, где секретничали женщины. Ему казалось, промедли он хоть мгновение — и встреча не состоится.

— Разифа! Здравствуй! — волнуясь, воскликнул Муратов и почему-то покраснел. — Я тебя не узнал.

Женщина вздрогнула и, прижав ладони к щекам, произнесла полушепотом:

— Бэрэмэс!.. Тауфик!.. — И быстро направилась к двери.

— Куда же ты, Разифа! — Тауфик и невестка преградили ей путь.

— Да я случайно забежала, по делам... Если б я знала... Просто неудобно... В таком виде... — оправдывалась она, по-прежнему не отрывая от лица жилистых натруженных рук, которые, сама того не сознавая, выставила напоказ.

— Нет уж, нельзя уходить, даже не попив чаю, — пришла на помощь мать. — Не чужие все-таки, вместе росли.

— Неудобно... — Разифа еще несмело сопротивлялась.

С красными пятнами на лице, подталкиваемая женщинами, она боком прошла к столу и спряталась за большим самоваром.

Да, Разифа была уже не той Разифой, по которой иногда грустил Тауфик Муратович. Постарела, поизносилась. На лице и вокруг глаз — глубокие морщины. И даже просторное платье не могло скрыть худые плечи и высохшую плоскую грудь.

«Почему надвигающаяся старость заметна только со стороны? Может, и я кажусь кому-то совсем одряхлевшим пнем?» — тоскливо подумал Муратов, подавляя в себе невольно появившееся желание взглянуть в зеркало.

За столом на некоторое время воцарилась неловкая тишина. И чтобы нарушить ее и как-то завязать разговор, он спросил Разифу:

— Как ваши дела?

— Наши... Да ничего, — ответила она и больше не до-

бавила ни слова. Только лицо ее стало еще более печальным. Она не притронулась к рюмке и, сделав лишь несколько торопливых глотков чая, который, было видно, огнем обжег ей горло, поднялась. — Не стану мешать вашему застолью, — через силу улыбнувшись, произнесла она, стараясь не выдать своего состояния, но голос звучал фальшиво бодро. — Мне надо идти.

На сей раз Разифа не поддалась ничьим уговорам. Но у двери, видимо забывшись, проговорилась:

— Когда вы подъезжали на машине, Калимулла увидел. Говорит, не Муратов ли едет...

Значит, к ним она забежала не случайно, только вот остаться незамеченной не удалось.

Мать, глядевшая ей вслед, тяжело вздохнула:

— Вот и у Разифы жизнь проходит...

И хотя она не произнесла слов «не так», чувствовалось, что жалеет ее как дочь.

— Только бы этот шайтан[1] не узнал, что она к нам заходила, а то опять начнет беситься, все в доме перевернет...

По всему было ясно, что судьба не баловала Разифу. Тауфику и раньше приходилось слышать, что жизнь у нее с Калимуллой не сложилась, хотя внешне все выглядело благополучно: много детей и дом не из бедных. Но только теперь он понял, как правы были люди, жалевшие ее. Грустно видеть, что в этой женщине ничего не осталось от прежней, гордой и красивой, Разифы.

...Молодая баранина сварилась быстро, и Тауфик Муратович понял, что из-за стола им с Ваней так быстро не выбраться: Кинзягул с женой с двух сторон то и дело подкладывали угощения.

— Ешьте, ешьте, до вечера еще далеко, не раз проголодаетесь, — приговаривала мать.

— Только вот ничего особенного нет, не знали, что гости приедут, заранее не приготовились, — сокрушалась невестка, хотя стол был заставлен деревенскими лакомствами.

— Ладно, ладно, не очень-то прибедняйтесь, — Тауфик Муратович показал на мед в сотах, густую домашнюю сметану... — Ничего такого мы в городе не едим, вон Ваня подтвердит. Уже некуда... Да и засиделись, пора за дела браться...

— Да отдышись ты хотя бы в отчем доме! — не выдержал, перебил его Кинзягул. — Я вот специально со смен-

[1] Бес.

щиком договорился, чтоб за меня отработал. Зиля с обеда отпросилась... Годами тебя не видим, а ты... Ведь попадешь к райкомовским, там уже не до нас будет. Давай лучше покажу тебе село, оно за эти годы так изменилось — не узнать, в поля съездим...

— Конечно! — подхватила невестка. — Побудь уж сегодня дома. Мать соскучилась! И все мы, ты ведь у нас за отца.

Тауфик Муратович и раньше замечал, что Кинзя с женой во всем поддакивают друг другу, а сейчас просто позавидовал их единодушию.

— Ну ладно, уговорили, — улыбнулся он. Даже если бы брат не предложил поглядеть на родные места, он не выдержал бы и пошел один.

...Остановились у озера Утар[1]. Судя по названию, ему полагалось находиться где-нибудь в лугах или в лесу. Может, когда-то так оно и было, и на берегу его ютился хутор, а теперь озеро лежало чуть ли не посреди райцентра. От него и улица, на которой жили Муратовы, получила название Озерной.

Мать, бывало, раньше часто говорила мужу и детям: не поленитесь, куда бы вы ни шли, ополосните три раза лицо и напейтесь — сразу прибавится сил.

Сейчас трудно сказать, было ли это поверьем или в самом деле вода озера дарила человеку силу, обладая чудодейственными целебными свойствами. Видимо, его питали очень мощные ключи: не только утром, но даже в полдень, в жару, вода была необыкновенно прозрачной и такой студеной, что зубы ломило. И вправду, стоило Тауфику зачерпнуть ее пригоршнями и умыться, усталость как рукой снимало.

В те времена озеро было очень богато рыбой. Все большое село, до революции принадлежавшее какому-то помещику, а потом ставшее районным центром, кормилось возле него: рыбу ловили и днем и ночью; ставили сети, «морды» и закидушки, и никто не уходил с пустыми руками. Даже таким мокроносым, с цыпками на ногах мальчишкам, как Тауфик, доставались золотистые карасики. В иные дни, когда особенно везло, он приносил их, нанизанных на ивовый прутик, на целую сковородку и, распираемый гордостью, важно ходил по дому.

Но озеро не только кормило, оно давало им, деревенским людям, нечто большее, что не так-то просто было вы-

[1] Хуторское.

разить словами. Оно не поражало неоглядной ширью, однако по берегам его стояло множество больших и малых лодок, а с наступлением сумерек с озера доносились то грустные, то веселые песни, переборы гармоней, оживленные голоса.

Сколько самых приятных воспоминаний было связано у Тауфика Муратовича с летними вечерами на Утаре! Но сейчас все выглядело иначе. Он не узнавал этих мест: куда девалась прежняя красота! Вместо озера — в середине неопрятной котловины — большая лужа. По отлогому берегу, где раньше ходила волна, тянутся грядки капусты. С трудом он отыскал и место, где прежде были мостки — с них, по пути в поле и возвращаясь домой, он пил, опустившись на колени. Теперь бы эти мостки повисли в воздухе.

То надевая, то снимая очки, он долго стоял в печальном молчании. Да, озеро, похоже, обречено. А ведь было время, вокруг него буйствовала зелень, деревья стояли такие, что из-за них и домов не увидишь. Полноводное сильное озеро, видимо, создавало особый микроклимат: его прохлада и влага спасали от жары все живое. Озерную воду пили без опаски, не думая о болезнях. Теперь не то что пить — умываться не захочешь... Деревья — хилые и реденькие... И это в большом селе, где народу почти как в городе. Озеро принадлежит всем — и остается беззащитным! Хотя чему ж тут удивляться, такое еще нередко встречаешь: раз общее, значит, вроде бы ничье, бесхозное. Об охране природы мы пока больше говорим, а вот чтоб за конкретное дело взяться...

Словно прочитав его мысли, Кинзягул поспешил нарушить это горькое молчание:

— На собрании уже решили: нынче осенью будем «лечить» озеро. Прочистим ключи, воды добавим, посадим деревья. И нужно огородить. Сделаем зоной отдыха районного центра. А то стыдно, ей-богу...

Профессорская «Волга» еще долго кружила по знакомым, но довольно изменившимся полям. Хлеба ожидались хорошие. Их запах — ни с чем не сравнимый — до слез волновал Муратова.

Поздно вечером принимали гостей. Заглянул на минуту и первый секретарь райкома:

— А мы вас ждали сегодня, Тауфик Муратович. Потол-

ковать есть о чем... Да я понимаю, отчий дом — это отчий дом. Я что зашел — завтра пораньше загляните, а то можем разминуться...

За секретарем поднялись и гости:

— Пора...

— Утром на работу...

— Летняя ночь — как один вздох, не успеешь лечь — уже светает.

Кинзягул, которому хотелось подольше побыть с братом, старался удержать его за столом.

— Нет, Кинзя, и у нас завтра не выходной.

Они вышли на крыльцо и сразу окунулись в вечернюю свежесть.

— Какой воздух! — воскликнул Тауфик Муратович. — Прямо чай с медом — пил бы его! — Затем потянулся до хруста в суставах и неожиданно сказал матери: — Постелика нам с Ваней на сеновале...

— Бэрэмэс! — снова в изумлении вскинула та руки. — Ты как мальчишка, Тауфик. Забыл разве, что к рассвету роса большая, отсыреет все. Еще простудитесь. Ложитесь в доме.

— Нет, мама, там зарю проспишь, — улыбнулся он. — Я приехал, чтобы встретить зарю!

Мать смотрела на него широко раскрытыми глазами:

— Ты что, сынок, рассвета не видел? В Уфе у вас, наверно, тоже каждый день рассветает да вечереет...

— Здесь другая заря. Другая...

Но мать все равно не поняла:

— Говоришь сам не знаешь что. Думаешь, до сих пор на сеновале тебя прежняя твоя заря дожидается?..

Тауфик Муратович уткнулся лицом в свежее сено, жадно вдыхая сладкий аромат:

— Сплошная земляника! Всю жизнь дышать бы только этим запахом!

Потом он долго лежал на спине, высматривая сквозь щели в крыше мерцающие звезды короткой летней ночи. Ваня тянул одеяло то на голову, то на ноги, ворочался с боку на бок — видимо, не мог уснуть на новом месте.

— Видишь, Ваня? — с волнением окликнул его Тауфик Муратович.

— А-а?.. Вижу... — нехотя отозвался тот, пряча голову под одеяло.

Почти прозрачная светлая полоска, оставшаяся на небе после захода солнца за макушкой дальней горы у самого горизонта, почти незаметно двинулась на север и, дойдя до северо-востока, стала расти, подниматься над землей и, наконец, залила весь мир холодным серебристым светом.

Тауфику Муратовичу, с замиранием сердца наблюдавшему за этим волшебным явлением, как в детстве, казалось, что рождение зари видно так ясно только с их сеновала.

— Ваня, слышишь?..

Но тот уже провалился в самый крепкий предутренний сон.

...Вот она льется неудержимо, та музыка зари, которую, услышав однажды в детстве, уже невозможно забыть. Он ждал ее всем своим существом и наконец дождался: беззвучная мелодия пронзала его насквозь, звенела в нем самом.

Тихо-тихо
Придет и блеснет
Розовая заря...
Отступит черная ночь,
Ее прогонит прочь
Звонкий рассвет.
Впереди — дни,
Прекрасные дни
Твоей молодости.
Забудь сны,
Кто спит, тот проспит
Золотую пору
Своей молодости...

Кто подсказывает ему эти слова? Может, само сердце?.. Или беспокойная память?.. Как хорошо, что он один в такие минуты! И как хочется жить!..

Утром, наскоро выпив чаю, Тауфик Муратович отправился в райком. Как водится на селе, все встречные здоровались с ним, хотя никого из знакомых он вроде бы не встретил. И только сейчас он, кажется, до конца осознал, что родное его село не просто изменилось, не просто обновилось домами — в нем жили в большинстве своем уже другие люди. Лишь на площади перед райкомом он столкнулся с человеком, показавшимся знакомым. Худощав, сутуловат, старая шляпа надвинута глубоко, на самые уши. То ли потертая одежда, то ли хмурое лицо с опущенными углами рта придают и ему самому вид человека, изрядно

потрепанного жизнью. Через плечо перекинута тяжелая почтовая сумка, и непонятно, что гнет его больше: ноша или собственные мрачные мысли.

Поравнявшись с неприветливым почтальоном, Тауфик Муратович окончательно убедился, что это Калимулла, или, как в детстве по-уличному, Кадр Кали, сын пулнаймуша[1] Галяу.

Улыбаясь, Муратов протянул было ему руку, но Кали, будто не заметив этого жеста, круто свернул в переулок.

«Не узнал? — размышлял Тауфик Муратович, замедлив шаг. — Вряд ли... Впрочем, мы никогда не были приятелями, и удивляться тут нечему».

Секретарь райкома прямо с порога начал рассказывать о состоянии дел с сельхозтехникой района.

— Только и слышишь: К-700, К-700! Каждое хозяйство сегодня требует этот трактор, а ведь и он уже не последнее слово машиностроения. Подойдет уборка — всем «Ниву» подавай, и ничего другого, словно это лекарство от смерти, как у нас старики говорят. Не хватает техники, не хватает! Почему? Потому что быстро выходит из строя. Нагрузки велики. Во время сева и уборки — работаем круглосуточно. Да если еще с погодой не повезет... Люди выдерживают, а техника... Своими силами пытались тут кое-что усовершенствовать, а теперь надеемся, что вы поможете с унификацией узлов и деталей.

Они говорили довольно долго, затем первый секретарь, перепоручив Муратова второму, уехал по неотложным делам.

— Давайте по пути заглянем в нашу среднюю школу, посмотрим музей, — неожиданно предложил второй секретарь. — Вы ведь там не были? Интересное дело начали ребята. Вся история сельскохозяйственных орудий.

...В школьном коридоре, где царила прохладная летняя тишина, их шаги раздавались особенно гулко. В музее Тауфик Муратович ожидал увидеть стенды с фотографиями, потому и шел сюда с некоторой неохотой. Но стоило ему войти, как сердце взволнованно забилось.

Юный экскурсовод — девчушка в пионерском галстуке и красной «испанке» — с гордостью показывала им и кочедык, и веретено, и старинные вязальные спицы, ручную меленку, шорные инструменты... Но особенно богато были представлены орудия земледельческого труда, и именно к

[1] Уполномоченного (*искаж.*).

ним потянуло Муратова. В небольшом зале сумели установить даже жнейку и добогрейку.

Удивительно, как незаметно вышли из употребления эти трогательные названия. Да и саму технику прежних лет и впрямь увидишь теперь разве что в музее. Борона... Лошадный плуг... Еще совсем недавно многим казалось, что они будут сопутствовать крестьянину еще долгие и долгие годы, чуть ли не вечно. А сегодня мы, привыкшие к громадным машинам с мощными прицепными устройствами, смотрим на них как на нечто примитивное, ненадежное... Но ведь в самое трудное военное и послевоенное время, когда так не хватало рабочих рук, на них держалось все сельское хозяйство. И не просто держалось. В сельском хозяйстве, в его машинном парке, была какая-то стабильность, надежность. Потом слишком резкий скачок нарушил преемственность, последовательность в развитии сельскохозяйственного машиностроения. Может, иначе было нельзя, но в погоне за темпами, объемами, скоростью мы не заметили, как забыли о главном принципе сельскохозяйственной техники — надежности, многоразовом запасе прочности, и от этого наши громадные потери, в том числе и в психологии современного крестьянина: он перестал беречь машины, уверенный, что завтра ему пришлют другие, еще более мощные, но которые тоже будут быстро выходить из строя.

...— Вот эти плуги раньше делали в Челябинске, — щебетала девчушка, касаясь указкой поржавевшего металла. — В них запрягали двух лошадей. За плугом оставалась единственная борозда... А этот плуг — еще меньше. Он назывался «ляховский»... Вот режущая часть — лемех... — не договорила она, заметив, что гость, остановившийся возле плуга, чем-то очень взволнован.

— Этот плуг еще не совсем устарел, — по-своему истолковав состояние Муратова, пояснил секретарь райкома. — Он и сегодня нам очень нужен. Весной, когда на личных участках садят картошку, без него — как без рук. Даем заявки, чтобы их больше присылали, да пока толку мало.

Но профессор, казалось, не слушал его. Неожиданно он наклонился и провел ладонью по лемеху, словно погладил его:

— Мой плуг!.. Потускнел... А ведь было время, я смотрелся в него, как в зеркало... — Он вынул платок, протер лемех. — А я потерял тебя, дорогой! Раньше, когда приез-

жал, искал всякий раз. Думал, давно отправили в металлолом... Оказывается, увековечили!..

Он смотрел на всех повлажневшими глазами, и его волнение невольно передалось присутствующим.

— Воспользуйтесь случаем, пригласите Тауфика Муратовича на встречу с ребятами, — посоветовал директору школы секретарь райкома. — Им интересно будет послушать, что в юные годы профессор Муратов стоял вот за этим плугом.

Глядя на свой плуг, Муратов задумался. Он был дорог ему, этот простой труженик, и, наверное, Тауфик Муратович мог бы рассказать о многом, что было связано с ним. Только вот поймут ли его нынешние школьники, беззаботные и немного самодовольные? Способны ли хотя бы ненадолго почувствовать, что испытывал он, босоногий мальчишка, ступая за этим плугом по свежевспаханной земле?..

2

...До чего же сладок предутренний сон! Уже не первый раз мать Тауфика поднимается по лесенке на сеновал и вначале тихо, а потом все настойчивее будит крепко спящих мальчишек:

— Вставайте, пахари, вставайте! Солнце вот-вот взойдет. Где это видано, чтобы пахари до сего времени спали! Так и людей насмешить недолго, и дом до нищеты довести. Рано встанешь — мясо сваришь, проспишь — со стыда сгоришь! — вворачивает она тут же поговорку, каких у нее вдоволь на любой случай.

Тауфик наконец просыпается. Еще совсем рано. Сбитое, ставшее жестким прошлогоднее сено и постель повлажнели от росы, и так не хочется вылезать из-под одеяла. Даже странно, что с вечера они с Фарвазом никак не могли уснуть. И вообще, удивительные вещи происходят каждый день: кажется, совсем без сил возвращаешься домой с поля, но стоит только перекусить и выбежать на улицу — усталости как не бывало. До темноты носятся мальчишки по селу, придумывая всякие игры. И потом, на сеновале, долго смеются и рассказывают разные истории. Случается, сон забирает их, когда уже на востоке проступает предрассветная синева.

Тауфик поднимает голову: вон и Фарваз не думает просыпаться, дрожит и ворочается во сне, пытаясь нащупать сползшее одеяло. Глаза Тауфика слипаются, и он, зябко ежась, укрывается с головой, не в силах перебороть сон.

...Но вот он уже быстро спускается по лесенке на землю. Наматывает на ноги портянки, обувает лапти. Потом, жуя на ходу хлеб, берет уздечки и бежит за лошадьми, которых оставил пастись на лугу с вечера. И куда улетел сон? Ведь только что до смерти хотелось спать!..

Но мальчик снова слышит голос матери:

— Поднимайтесь, поднимайтесь, работнички. Пока ленивый, раскачается, трудолюбивый наработается, — ласково журит их она.

Оказывается, Тауфик еще не проснулся. Оказывается, так легко можно встать лишь во сне, а по-настоящему — ох как трудно!

Вот когда он начинает жалеть, что не лег пораньше. «Нет, сегодня лягу сразу же, как только приду с поля!» — Тауфик так решает каждое утро, а к вечеру забывает. Да и кто из мальчишек вспомнит о сне, получив после работы долгожданную свободу.

Мать ставит перед Тауфиком чашку с катыком [1], добавляет туда ложку сметаны, отрезает толстый ломоть ржаного хлеба: «Ешь, сынок». Кто знает, какая для нее мука будить сына ни свет ни заря и отправлять в поле. А что поделать... Муж два года как помер. Старший сын не вернулся с финской войны. Младший — совсем кроха. Вот и распорядилась судьба так, что шестиклассник Тауфик стал опорой семьи, ее главным кормильцем: не дождавшись конца учебного года, вышел на пахоту со взрослыми. Единственное, что она может при ее положении, так это посытнее накормить сына.

Но сейчас Тауфику совсем не хочется есть. Ложка с катыком вяло ходит от чашки ко рту и обратно, почему-то не жуется хлеб. Многое отдал бы он, чтобы снова забраться под одеяло. Мальчик с завистью смотрит на своего двухлетнего братишку, сладко посапывающего на лавке.

— Поешь, Тауфик, сил прибавится, — мать кладет теплую руку ему на затылок. — Отец покойный так хотел, чтобы вы учились. Ведь из-за школы мы бросили в деревне все хозяйство и перебрались в райцентр. Бывало, все говорил: раз сам малограмотный, пусть дети мои образование получат, выйдут в люди. Ты вот в учебе очень смышленый... Неужели так и ходить тебе пахарем?..

Тауфику очень хочется утешить мать. Учиться он все равно будет. Только разве так уж плохо быть пахарем?

---

[1] Кислое молоко, приготовленное из кипяченого специальным заквашиванием.



И что значат эти слова: «выйти в люди», «стать человеком»? Каким должен быть тот человек, который, выучившись, в отличие от других людей, «стал человеком»? Матери представляется, что ее способный сын должен непременно стать учителем или агрономом, а то и каким-нибудь канцелярским служащим: чинно ходить на работу с портфелем, сидеть за большим письменным столом, и чтобы контора эта или канцелярия обязательно находилась в райцентре или даже в городе... А Тауфику больше всего хочется быть пахарем. Конечно, он любит пахать землю на лошади, но разве сравнишь это с трактором! Вот бы на чем попробовать! Но тракторов еще не хватает. Не только в маленьких деревнях, даже в их центральной колхозной усадьбе. А может, стать трактористом — это и значит выйти в люди?..

Раньше Муратовы жили в небольшой деревне Кысынты, где была только начальная школа. Отец же мечтал дать сыновьям образование. А поскольку его мечты редко расходились с делом, то однажды решил окончательно и бесповоротно: надо перебираться в райцентр. Его не остановило даже то, что дом их был одним из лучших в деревне — высокий крепкий шестистенок под железной крышей. Отец продал его и на окраинной улице райцентра купил маленький и уже довольно обветшавший домик, который ни в какое сравнение не шел с прежним. Впрочем, вырученных денег не хватило даже на это неказистое строение, пришлось продать и телку-двухлетку.

Дело было сделано, и теперь они обживались на новом месте. Отец не сетовал на жизнь, и поскольку все препятствия на пути к знаниям были устранены, считал, что остальное зависит от самих ребят. А они у него смышленые.

Но судьба распорядилась по-другому: неожиданно отец умер. И на ее крутом повороте надо было как-то удержаться. Тауфик не раз думал потом, что, может, так и должно быть, чтоб сын пахаря тоже стал пахарем? Может, ему на роду написано ходить за плугом? Во всяком случае, он не видел в этом ничего зазорного. Зато долговязый Калимулла с их улицы, который второй год сидит в седьмом классе, всякий раз, когда Тауфик с уздечками через плечо возвращается с поля, становится ему поперек дороги.

— В земле ковыряешься? — с издевкой начинает он. — Нет, мистер из Кысынты, наш век — не век пахарей. Товарищ Сталин очень ясно сказал: «Все решают кадры!» Век кадров, понял? Хотя... Паши! С тебя, деревня, и этого

достаточно. Кто-то и пахать должен. Вот нам, райцентровским, без культуры нельзя.

Видимо, эти «благие намерения» крепко внушил своему сыну пулнаймуш Галяу. Во всяком случае, Калимулла говорил подобное не одному Тауфику, иначе не прицепилось бы к нему так прочно прозвище «Кадр Кали». Прозвище как нельзя лучше шло Калимулле, потому что с такими повадками его нетрудно было представить начальником. Слава второгодника вовсе не мешала ему щеголевато носить под мышкой папку и готовить себя к важной миссии.

Да и прозвище старшего Ахметова — пулнаймуш — было очень метким. Вряд ли кто из райцентра мог точно сказать, в какой организации работает Галяу, — круглый год разъезжал он по деревням уполномоченным района. Еще не успеет сойти снег с полей — направляется в колхоз двигать посевную кампанию. Еще не выросла трава — торопит хозяйства с сенокосом. А уж когда наступает самая ответственная пора для земледельца — уборка урожая, Галяу и вовсе не появляется в райцентре, словно без него, уполномоченного, ни председатели, ни агрономы, ни бригадиры и знать не будут, что хлеба поспели.

Вместе с уборкой урожая нужно начинать сев озимых, пахать землю под пар — как тут, опять же, обойтись без уполномоченного?

Даже осенняя распутица не может удержать Галяу на основной работе дольше чем на три дня: он уезжает заготавливать продукты животноводства: мясо, шерсть, яйца; шкуры. Наверное, и доярки без него не знают, с какой стороны подойти к корове. Стало быть, не обойтись в районе без Ахметова-старшего, не зря его никто и не зовет по имени или фамилии, а только: пулнаймуш.

Вот и Калимулла, произнося такое сладкое для него слово «кадр» и держа при этом у виска поднятый указательный палец, видит свое будущее не менее ярким: вполне возможно, и ему предстоит ездить уполномоченным!

Тауфик, хоть и младше Кали на два года, тоже уже задумывается о том, кем станет. Конечно, можно агрономом или ветеринарным врачом, но ведь и пахарем не хуже. Не тем, что в старых лаптях следом за лошадью землю месит, а тем, который умеет управлять мощным трактором. Вот выучится он на тракториста — тогда посмотрим, кто настоящий кадр! А пока, раз уж назвался пахарем, нужно заработать столько трудодней, чтобы зимой хватило семье.

Больше всего Тауфик боится слова «лодырь», которое повторяет мать, когда будит его по утрам. По этой причине он даже экзамены сдавал только в обеденный перерыв, а потом снова торопился на пахоту. Конечно, здорово выручали его природные способности, которыми так гордился отец. Правда, не на одни пятерки закончил год, но и не хуже других ребят — без троек. И лодырем его назыбать было не за что. Да мать и не считала его ленивым, а говорила это скорее для профилактики. А вот прозвище ему все же дали. В этих местах люди вообще долго не живут без прозвища. Так вот, если кто спросит, который это Тауфик, — на их улице он не один носил такое имя — в ответ обязательно услышит: «Пахарь!» И сразу ясно, о ком речь.

Кадр Кали, называя его так, конечно, язвительно кривит рот, стараясь подчеркнуть свое пренебрежение. Он и не подозревает, что, дав Тауфику такое прозвище, люди выразили ему свое уважение. И еще меньше Ахметов-младший замечает, с какой иронией все произносят его прозвище «Кадр», для самого же Галяу слышать его — словно чай с сахаром пить.

...— Лапти наденешь перед тем, как пахать, — доносится до Тауфика голос матери, когда он в сарае снимает с гвоздя уздечки. — А то, пока лошадей ищешь, промочишь их росой и на пахоте натрешь ноги. Без ног какой ты пахарь...

Последние слова мать произносит привычно-спокойным тоном, словно смирившись, что сыну так и не выйти в люди. Раз уж запрягся однажды, значит, на всю жизнь. Это она хорошо знает по своему покойному мужу и братьям. Способные, крепкие мужчины, а кроме земли ничего не видели. Но Тауфику вовсе не кажется, что они об этом жалели, потому как сам он пока ни разу не пожалел, что взялся за плуг.

Лето только начинается, и ноги, избалованные обувью за зиму и весну, еще не нарастили себе блестящие черные «подошвы», которые безбоязненно ступают на колкую прошлогоднюю траву. И, шагая по лугу к тому месту, где пасутся лошади, Тауфик то и дело останавливается, чтобы вытащить занозу: да, ему больно, но он не какой-нибудь маменькин сынок, чтобы заплакать от такой ерунды!

В низине расстилается туман. Он обволакивает все вокруг, и даже ближайшие кусты и деревья теряют привыч-

ные очертания и кажутся таинственными. Лошадей совсем не видно, и Тауфик находит их лишь по звуку ботала, повешенного на шею пегой кобыле.

Мальчику кажется, что остальные лошади вздыхают с облегчением, взглянув на него: хорошо, мол, не мой хозяин, и снова с хрустом принимаются за траву, торопясь еще хоть немного поесть в оставшиеся минуты отдыха. Все-таки очень это умные животные! Только вот разговаривать не умеют. А если бы умели, чего бы только не рассказали! Рука бы не поднялась запрягать их, растягивать удилами рот и тем более стращать кнутом!

Хотя... разве совсем лишены они дара речи? Ведь только стоило подойти к Таусу[1], — кому пришло в голову назвать его так, — тот сразу ответил тихим ржаньем, перестал есть траву и даже опустил голову, помогая надеть уздечку.

В паре с немолодой пегой кобылой их изо дня в день впрягают в один плуг, и они настолько привыкли друг к другу, что даже в ночном пасутся рядом. Пегая тоже спокойно дожидается своего юного хозяина — она очень выдержанная и никогда бурно не выражает ни радость, ни обиду.

Обычно с пастбища до пашни Тауфик едет верхом на Таусе: ему жаль кобылу, которую запрягает коренной. Что поделаешь, Таус то ли по своей собственной молодости, то ли из-за молодости пахаря частенько не слушается и портит борозду. Ведь, как и Пегая, всю ночь пасется в лугах, но не пройдет и двух-трех часов — начинает тянуться за растущей на обочине травой и то и дело вырывает плуг из борозды. В такие моменты тяжело пегой кобыле — приходится тянуть лямку за двоих, и Тауфик вынужден подстегнуть жеребца кнутом. При этом он невольно ежится и вздрагивает, словно сам получает неожиданно хлесткий удар по спине. Как тут не взвиться, когда полоснет тебя плетенный из волоса бич! Нет, Тауфик терпеть не может махать кнутом, а тем более — бить лошадей. К сожалению, на их крупах, как на листе бумаги, нередко можно «прочитать» следы ударов мокрого, волочившегося по земле кнута, которые не разглаживает даже время. На Таусе таких полос нет, потому что, хотя и нетерпелив молодой конь и своенравен, лучше все же на него действовать лаской. Так считает Тауфик. И дядя Музафар, с которым они обычно пашут рядом, часто хвалит его за это:

[1] Канарейка.

— Молодец, сынок! Конь — он как ребенок, больше поддается ласке, чем наказанию.

Вот и сейчас Тауфик поделил между Таусом и Пегой кусок хлеба, прихваченный из дому, погладил им шеи, распутал гривы.

Как всегда, на Пегую он надевает неказистую, плетенную из четырех полосок мочала уздечку — лошадь послушная, ей не требуются удила. А вот Тауиса уже скоро придется взнуздать холодным железом, когда тот начнет свои проделки. По нему часы можно проверять: с утра послушный, работает в полную силу, но подходит время обеда или заканчивается рабочий день, опустит голову, вытянет шею по-змеиному и начинает тянуть своего пахаря куда-нибудь в сторону. И завязывается борьба — кто кого.

Дядя Музафар тоже, оказывается, заметил эту «пунктуальность» Тауиса:

— По нему, не глядя на солнце, можно понять, что обед подошел, — посмеивается он. — Профсоюзные законы соблюдает...

— Когда на поле Таулс, даже в пасмурный день легко понять, где солнце, — гнусаво вторит ему приятель Тауфика Фарваз — нос у него вечно заложен из-за простуды.

Но все это еще впереди, борьба с капризным конем будет ближе к полудню. А пока Тауфик накидывает на своего подопечного узду и, используя ее как стремя, взбирается на Тауиса верхом. Что поделаешь, если мальчик из Қысынты не вышел ростом и не может одним прыжком сесть на непослушного жеребца. Хорошо еще, никто не видит этот его неуклюжий прием.

Эх, Тауфик, прав Қадр Қали, хоть и стал ты жителем райцентра, а «наследство» маленькой деревушки с первого взгляда заметно и в твоем конопатом носе, и в привычках, и в постоянной застенчивости...

Скорее бы подрасти — и тогда он будет вскакивать на коня легко и небрежно, подобно кавалеристу или заправскому наезднику.

Қакое блаженство — прижать покрасневшие, озябшие до боли ноги к горячим лошадиным бокам! Тауфику кажется сейчас, что они с Тауисом — единое целое и что из тела коня переливается в него благодатное тепло. В эти минуты он напрочь забывает о капризах своего друга, да и сам Таумс, кажется, не намерен озоровать — так послушен и спокоен.

За спиной юиого пахаря — холщовая сума с куском хлеба, двумя яйцами и щепоткой соли. Это его обед. На груди в такт движению покачиваются лапти. И хотя рядом шагает старенькая пегая кобыла, а Таус всего лишь обыкновенный жеребец, в какой-то миг он иачииает казаться мальчику волшебным. Клубы тумана превращаются в легкие облака, и вот уже он летит по небу на крылатом коне... Это совсем несложно представить, стоит только иемиожко пофантазировать, а фантазировать умеет любой подросток.

Туман стал прозрачнее, жиже, земля под копытами лошадей вначале заголубела, потом почернела, четко обозначив дорогу. Исчезли крылья у Тауиса, и Тауфик, увидев неожиданно вынырнувшее из белесой дымки поле, уже начинающее согреваться под теплыми оранжевыми лучами, постепенно возвращается на землю.

Ускорил возвращение Тауфика в реальный мир догнавший его Фарваз. «Успел-таки, — подумал Тауфик. — А ведь, как всегда, остался на сеновале досыпать. Утром от него только и добьешься, что обещания «сейчас встану». Понятно, мать Тауфика ему не указ. В силах поднять Фарваза только его мать — соседка Марфуга-апай — так прикрикнет! Но пока она появится на сеновале у Муратовых, Фарваз урывает еще десять-пятнадцать минут сна».

— А здесь, на содце, как тепдо, — с радостью говорит Фарваз, смешно искажая звуки, потому что нос у него, как всегда, не дышит. — Бой дос опять как пробкой заткдудо...

Тауфик с Фарвазом подружились с тех пор, как стали соседями. Тауфику нравится, что Фарваз умеет радоваться даже пустяку, легко находит веселое там, где другой бы и не додумался, но больше всего и охотнее смеется над своими собственными недостатками.

— Досик у меня фамильный, — улыбается он, постукивая пятками по бокам своего мерина. — Ориентируется по содцу: с вечера его закдадывает, утром — как зацемедтировадный, а к обеду — оттаивает, дачидает дышать. Когда ддугим есть нечего — у меня цедая кадтошина в запасе! — и берет себя за нос пятерней.

У того, кто первым высмеивает свой недостаток, есть определенное преимущество: другие над ним уже не смеются.

Пахать Фарваз начал из интереса, за компанию с Тауфиком. Их семья особо не нуждается — отец жив, старший брат недавно привел в дом жену — работать есть кому. Потому и достались Фарвазу, появившемуся в поле послед-

ним, далеко не лучшие лошади. Дядя Музафар направил его работать к Тауфику. Тот уже имел недельный опыт и шел первым, Фарваз же, как начинающий, вел за ним следующую борозду.

Пахота давалась Фарвазу трудно. Помимо того что сама по себе она требовала большой физической силы и выносливости, с непривычки выматывала своим монотонным однообразием. Даже не каждой лошади это под силу, взять того же Тауиса. Тут-то и обнаружились вспыльчивость Фарваза и ярость, в которую он приходил от малейшего непослушания животных. Стоило лошадям остановиться на борозде, как Фарваз немедленно пускал в дело кнут, а следом летела злая брань — ее было слышно на другом конце поля.

«Будешь так обращаться с лошадьми, придется пожаловаться бригадиру и отправить тебя домой», — в который уж раз предупредил Фарваза дядя Музафар.

Тот покраснел от стыда, но терпения и на этот раз ему хватило ненадолго. Вскоре он снова стал вымещать свою досаду на бессловесных животных, особенно когда оказывался на дальнем краю пашни.

Тауфик оглядывался и чувствовал, что еще немного — и он сорвется, бросится на приятеля с кулаками. На одном из кругов он услышал сзади громкое ржанье, и от того, что увидел, волосы у него встали дыбом. Увесистой железкой, которой чистят лемех плуга, Фарваз замахивался на лошадей. Те шарахались в испуге, вскидывались на дыбы, путаясь в постромках, рискуя сломать ноги, пятились на плуг.

Не помня себя Тауфик опрометью кинулся к Фарвазу, выхватил у него железку и ткнул ею ему в бок. Тот как подкошенный рухнул в борозду и стал хрипеть от удушья. Перепуганный Тауфик присел рядом и, не зная, что делать, в ужасе от того, что натворил, громко заплакал.

— Умираю, — стонал, катаясь по земле, Фарваз.

На шум сбежались остальные пахари. Опустившись на колени, дядя Музафар едва оторвал руки Фарваза от живота и, разводя их в стороны и прижимая к груди, выправлял ему дыхание. Вскоре оно стало глубоким и шумным, и Фарваз даже попытался приподняться.

Белый как мел, Тауфик неотрывно следил за приятелем и прочитал в глазах того ненависть. Другие тоже неодобрительно поглядывали на него. И дядя Музафар с досадой в голосе, негромко, но в то же время достаточно твердо сказал:

— Ты иди, Тауфик, не стой здесь... Иди...

Тауфик чуть сдержал слезы: его прогнали! Но куда уходить? И он на ватных, неслушающихся ногах побрел к своему плугу. Лошади, воспользовавшись неожиданным перерывом, свернул с борозды и, с удовольствием пофыркивая, щипали траву. Присев возле Тауиса, Тауфик по-русски, как это было принято здесь, подал ему команду:

— Ногу, ногу! — и потянул за бабку.

Конь послушно поднял ногу, дав освободить себя от постромок.

Тауфик завел лошадей на борозду, очистил от земли лемех так, что тот заблестел. «Но ведь не один я виноват, — пришла к нему утешительная мысль. — Мы оба... Просто меня отослали, чтобы мы остыли... Когда боль пройдет, может, Фарваз и сам все поймет...»

— Нно-оо, нно-оо, соколики, — ласково прикрикнул он на лошадей, называя их как когда-то отец.

Колеса завели свою нехитрую музыку, похожую чем-то на песню жаворонка, земля ложилась за плугом ровным черным пластом, и постепенно Тауфик начал успокаиваться.

Но когда, сделав полкруга, он повернул обратно, перед глазами его предстала невеселая картина. Держась одной рукой за бок и слегка припадая на правую ногу, Фарваз уводил своих лошадей в сторону села. Поравнявшись с ним и не зная, что сказать, Тауфик выдавил:

— Я это... Я тоже не сдержался...

Но Фарваз ничего не ответил и даже не взглянул на него.

Второй круг Тауфик начал с тяжелым сердцем, а повернув, увидел, что Фарваз все-таки не ушел с поля и пашет отмеренную им самим загонку на другом его конце. Радоваться этому или нет, Тауфик не знал. Смогут ли они теперь при встрече смотреть друг другу в глаза?

Как бы там ни было, черная лента, которую оставлял за собой Фарваз, становилась длиннее, но ни разу — и это заметили многие — не подстегнул он лошадей кнутом и даже не закричал на них.

А несколько дней спустя, поздним вечером, с одеялом в охапке Фарваз появился у Тауфика на сеновале. Просунув голову в лаз над лесенкой, он виновато-миролюбивым тоном сказал:

— Ну и проучил же ты меня... — и рассмеялся с облегчением.

Вот и сегодня, когда, поторапливая лошадей, догнал его на краю туманной низины, Фарваз стал посмеиваться над своим заложенным носом, как бы оправдываясь за лишних пятнадцать минут сна.

3

После сумрачной луговины неоглядное, исходящее теплом поле особенно манило к себе. Вместе с желтым солнечным светом разливалась над ним многоголосая ласковая песня жаворонков, едва заметными точками зависших в прозрачном воздухе.

— Фюить-фюить, фюить-фюить, — летела к земле ни с чем не сравнимая музыка летнего утра.

Лошади по привычке сами пошли в тот конец поля, где с вечера остались хомуты и прочий инвентарь. Тауфик еще издали увидел дядю Музафара, который, приставив ладонь козырьком к лицу, всматривался в небо. Удивительное дело, как бы рано ни приходил Тауфик на пахоту, дядя Музафар уже там, возле своего любимого плуга под названием «челябинский». Вот и сейчас, слушая трели жаворонков, он не забывает дать советы молодым:

— Хомуты, пока есть время, подсушите на солнце, а то натрут лошадям грудь. Вожжи, всю упряжь проверьте, чтоб потом не подвела во время работы.

— Фюить, фюить, — рассыпаются серебром птичьи песни.

Дяде Музафару около сорока, и видит он в свои годы, конечно, неплохо, но обязательно спросит тех, кто поблизости, высоко ли вьются жаворонки. Наверное, ему очень хочется, чтобы все в эти минуты смотрели в звонкую синеву.

— Конечно, высоко...

— Еле видно, дядя Музафар, — перебивают друг друга молодые пахари, зная, что именно это он и хочет услышать от них.

— Значит, уродится хлебушко. И скотине корма хватит, — улыбается довольный дядя Музафар, подкручивая концы густых медных усов.

Кое-кому из новичков непонятны его умозаключения; ну что может быть общего между хлебом, растущим на земле, и жаворонком в поднебесье? Какая разница, высоко он поет или над самой головой? Видя их недоумение, дядя Музафар охотно объясняет:

— Жаворонок, взлетая над полем, заранее угадывает,

какой силы и высоты поднимутся хлеба и травы. Если быть хлебам рослым и густым — высоко вьется: нападет ястреб или коршун, есть куда кинуться и спрятаться. А уж когда хиленькие колосья и трава не удалась — ближе к земле держится, не отрывается от нее очень.

— Надо же... — удивляется Фарваз, — такой маленький и такой умный...

— Природный инстинкт... — многозначительно заключает местный босоногий «фисолос». — Это доказано наблюдениями, которые столетиями вели наши предки...

Мальчишки еще некоторое время смотрят в небо, а дядя Музафар проверяет готовность плугов, ключом подтягивает гайки. Исправный плуг — половина успеха. Тут уж только направляй лошадей — легко пойдет пахота, все от тебя зависит. Тауфик понимает это, но в последнее время никак не может сосредоточиться — то и дело выскакивает у него плуг из борозды. Вроде бы слушает, что ему говорят другие, да не слышит. А объясняется все очень просто: на соседнем поле, скрытом полосой тумана, работает трактор, один из трех имеющихся в колхозе. Он пашет землю под пар, и звук его мотора действует на Тауфика магически, преследуя его даже дома, совсем далеко от поля, будоражит сердце. Ничего не поделаешь, мечта мальчишки из маленького аула Кысынты стать трактористом крепнет день ото дня. «Какое же это счастье — пахать и пахать, не дожидаясь, когда лошади отдохнут...» Нет, только тракториста и можно назвать настоящим пахарем. Он пахал всю ночь и утром начал пахать раньше других. И работу его сразу видно, потому что у тракторного плуга несколько лемехов. Трактор не знает усталости. Постоит малость, пока его бак заполнят горючим — и снова за дело. Пашет, боронует, сеет. Во время уборки тянет комбайны «Коммунар», «Сталинец», которые хоть и пыхтят моторами, но сами ходить не способны.

Но разве поспеют всюду три трактора! Поэтому без лошадей пока не обойтись. На них пашут, их запрягают в сеялки, жнейки, лобогрейки. И на большинстве других работ в деревне главной тягловой силой является лошадь.

Тауфик часто слышит слова о том, что придет время — и люди будут обходиться без лошадей, все сможет техника. Наверное, это будет здорово! А на лошадях останется только ездить верхом. Но дядя Музафар не разделяет его радости, у него на этот счет свои соображения, которые он нередко высказывает вслух:

— Ничто не сравнится с лошадью! Запчастей ей не нужно. Не буксует. А трактор и машина не везде пройдут. Когда у лошади «горючее» кончается, она, бедная, еще полдня тянет...

Вот и сейчас, жалея лошадей, он поторапливает пахарей:

— Давайте, братцы, запрягать. Поработаем больше по холодку, а в обед, пока самая жара да мухи, не будем животных мучить и сами отдохнем.

Голос дяди Музафара выводит Тауфика из задумчивости: да, пора запрягать коренную. Мечтательное выражение еще долго не сходит с его лица, и потому, проходя мимо, дядя Музафар с улыбкой предупреждает:

— Только хомуты, смотрите, не наденьте деревянной стороной...

Все смеются, но Тауфик нисколько не обижается. Да, было такое, когда он первый раз вышел пахать. Запряг тогда лошадей и, с деловым видом дернув вожжи, крикнул: «Нно-оо!». Старая кобыла порывалась идти, а Таус не сдвинулся с места. Решив, что это всего лишь непослушание, Тауфик щелкнул в воздухе кнутом. И снова Пегая бесполезно поднатужилась, а молодой конь лишь затоптался на месте и стал лягаться.

Кто-то из пахарей, подойдя поближе, рассмеялся. Посмотрев внимательнее на Тауиса, и сам Тауфик понял, в чем дело, и очень смутился. Оказывается, он надел на коня хомут обратной стороной.

Несколькими днями позже такую же ошибку допустил Фарваз, и теперь уже Тауфик без насмешек и превосходства поправлял его.

...— Ну, братцы, тронулись!

Это дядя Музафар подал команду. Его никто не назначал старшим среди пахарей, но как-то так получилось, что для них он стал самым авторитетным человеком. Немногословный, нешумный, никогда не выставляющий напоказ свои знания, он добровольно взял на себя роль учителя и помощника, хотя никаких трудодней ему за это не полагалось. Тауфик уже успел понять: если дядя Музафар в поле, значит, «челябинские» и «ляховские» — в исправном состоянии, а главное — рядом его надежные руки, и ничего плохого не случится.

— В какой-нибудь дождливый день повезем плуги в кузницу, — уже на ходу договаривает он. — Лошадям сразу легче станет. Да и земля к острому лемеху не

так липнет. Надо, чтобы лемех блестел как зеркало!

Тауфик тоже любит, когда в лемех можно смотреться как в зеркало. Обычно в конце загона, поворачивая плуг, он поглядывает на свое вытянутое отражение и смеется.

— Ну, пошли, мои хорошие!..

Отдохнувшие за ночь лошади дружно трогаются, словно только и ждали команды. Колеса плуга в надежде перещеголять жаворонков снова заводят свою песню.

— Скрип-сприп, скрип-скрип, — плывет над землей их мотив.

Ровная черная полоса, остающаяся за плугом, доставляет Тауфику ни с чем не сравнимую радость, хотя это всего лишь результат простой крестьянской работы. Она блестит, как, кажется, блестят только голенища начищенных ваксой хромовых сапог, и когда Тауфик не отрываясь смотрит на бесконечную ленту срезанного пласта земли, у него начинает слегка кружиться голова. Так бывает, когда стоишь на корме парохода и смотришь вниз, где вскипает рассеченная мощной силой вода. Но мальчик из маленькой деревни Кысынты, сын пахаря и сам пахарь, никогда на пароходе не плавал, это сравнение придет к нему многими годами позже, уже взрослому, и сейчас для него не меньшее волшебство — «ляховский» плуг, за которым тянется не зыбкий, а вполне осязаемый след. И этим волшебством владеет не кто-нибудь, а он сам. Шагая за плугом, Тауфик не чувствует веса ставших за день пудовыми от налипшей земли лаптей, как и не ощущает усталости. Она придет потом, а пока он делает любимую работу, его переполняет радость.

Даже поздно вечером, на сеновале, перед глазами подростка еще долго вьется блестящая черная лента пашни. Уставшее тело забирает сон, но она все еще, порой до самого утра, вьется перед глазами, а в ушах звенит знакомая песня колес, только слова у нее теперь другие:

— Спи-спи, спи-спи...

Тауфик засыпает недолгим, но глубоким сном славно потрудившегося человека...

— Фюить-фюить, фюить-фюить, — поет в поднебесье жаворонок.

— Скрип-скрип, — однозвучно вторят ему колеса плуга. Стелется новая черная борозда, а по ней, едва не наступая на конец волочащегося длинного кнута, шагают вперевал-

ку такие же черные и блестящие грачи, суетятся неутомимые скворцы, отыскивая пищу для своих птенцов.

Все шире вспаханная полоса на поле, которое остается под парами. Бригадир замеряет ее и радостно сообщает:

— Вот молодцы, выполнили норму!

Становится жарко — солнце в самом зените. Тауфика уже давно мучает жажда, да и лошади не успевают отбиваться от мух и слепней, отчаянно машут хвостами, взбрыкивают на ходу и все чаще тянутся за травой. Стоит остановить их хоть ненадолго, как кровососы еще ожесточеннее одолевают животных. Подошло время взнуздать Тауиса, но не так-то просто это было сделать. Уворачивается, тянет в сторону — пора, мол, обедать. Да и сам пахарь, как, впрочем, и все другие, то и дело поглядывают на дядю Музафара — все устали, но есть у них своего рода негласное правило: пока не остановится он, не останавливается никто.

— Смотрите, жеребец Тауфика опять воюет за свой режим, — смеется кто-то, заметив проделки Тауиса.

Но вот дядя Музафар дошел до конца загона, развернул плуг на будущую борозду и остановил лошадей. Значит, можно распрягать. А это даже у молодых пахарей получается быстро.

Освободившись от хомутов, лошади облегченно зафыркали. Тауфик погладил по потной шее трудягу Пегую, похлопал по бокам непослушного Тауиса и, спутав им ноги, отпустил в низину на сочную траву. В обед там паслись обычно все лошади, занятые на пахоте.

Скорее, скорее под яр, где бьет спасительный ключ! Изнемогающий от жажды Тауфик жадно, но осторожно, чтобы не замутить воду, хватал губами прозрачную стынь. До чего же вкусная вода в этом роднике! Не сравнится даже со сладким чаем.

Жажда была сильнее усталости и голода. И только напившись вволю, стали черпать смятыми кепками воду, поливать на голову, умываться. Жаль, что дно у родника не каменистое, быстро мутнеет в нем вода. Но и отстаивается так же быстро. И когда пообедают пахари домашней снедью и снова захотят пить, вода снова будет серебристой и прозрачной.

Устроив себе, кто как мог, тень над головой, Музафар и другие, кто постарше, прилегли вздремнуть. А молодым — что: поели — и всю усталость будто рукой сняло. Мальчишки разбрелись по зарослям кустарника за оврагом — поискать щавель или кислицу.

Через час Тауфик появился с охапкой борщевика. Ныне его много: сам наелся вдоволь и домой нарвал. Мать варит из молодого борщевика удивительно вкусный суп. И еще можно набрать сколько хочешь, хватит даже, чтобы занести Разифе.

Снова не спеша спустились к роднику, попили. Нужно переждать самую большую жару — после полудня времени еще достаточно, чтобы до упаду наработаться, летний день длинный.

Но вот, взглянув на солнце, встал дядя Музафар, следом за ним поднялись и остальные, и Тауфик направился за лошадьми.

Пегая паслась там, где и оставил ее хозяин. А Тауиса не было. Насвистывая, Тауфик отвел Пегую к яру и, поглаживая, наблюдал, с каким удовольствием, неторопливо та пила. Теперь оставалось найти Тауиса.

Тауфик примерно догадывался, где мог спрятаться этот строптивый черт, и, привязав кобылу к колесу плуга, отправился на поиски. Но за кустами ивняка, где Тауис чаще всего прятался, того не было.

Тауфик нашел жеребца в самом неподходящем для пастьбы месте, там, где когда-то был ток, а теперь буйствовали сорняки. Освободившись каким-то образом от пут, Таусис, совершенно довольный, стоял в зарослях прошлогоднего репейника. Его грива и хвост были забиты репьями. И, прежде чем начать пахать, надо было вытащить их.

Тауфик торопился: он и так потерял много времени, разыскивая Тауиса, почти все уже пахали. А жеребец даже тут показывал свой характер: то встряхивал гривой, то начинал махать хвостом перед самым носом хозяина.

Не сразу увидевший это дядя Музафар предупредил Тауфика:

— Осторожнее, с репьем шутки плохи...

Но Тауфик не придал значения его словам, он спешил наверстать упущенное. И только когда начал пахать, почувствовал, как нестерпимо чешется левый глаз. Не вытерпев, на ходу потер его рукавом, и сразу же острая боль пронзила глазное яблоко. «Неужели репей попал? — мелькнула в голове тревожная догадка. — А, пройдет!» — постарался он успокоить себя.

Но с каждым шагом кололо все сильнее. Круг Тауфик заканчивал почти вслепую: боль не давала разомкнуть веки, непрерывно текли слезы.

Дядя Музафар еще издали понял, в чем дело.

— Бросай плуг и беги прямо в больницу, — крикнул он Тауфику. — Лошадей я сам распрягу.

Уже приблизившись, показал свои перепачканные руки:

— Видишь, я помочь не смогу. Беги скорее, да не три по дороге глаза, а то совсем худо будет. Ведь говорил тебе, осторожней с репейником...

Надвинув кепку на левый глаз и превозмогая боль, Тауфик шел, почти ничего не видя. Правый беспрестанно слезился. То и дело спотыкаясь и падая на пашне, он выбирался к дороге. Руки у него были заняты — он прижимал к груди перехваченный суровой котомкой снопик борщевика — мальчик из аула Қысынты, крестьянский сын, никогда не позволит себе бросить еду.

Дорога в три километра, которую обычно проходил незаметно, на этот раз казалась бесконечной. Сквозь постоянно набегающие слезы не видя рытвин, он то и дело падал, тут же вскакивал и бежал вперед, и падал снова.

Но вот позади мост. Дорога пошла вверх, и, значит, до села уже недалеко. Только, как нарочно, все встречные останавливают и спрашивают, что случилось. И каждому приходится отвечать, потому что Тауфик не может отмахнуться от расспросов — нехорошо так.

В лаптях, отяжелевших от налипшего жирного чернозема, как-то неловко шлепать по райцентру, хотя он всего лишь сын пахаря, а не сын пулнаймуша. Тауфик сел на обочине и стыдливо завернул их в портянки: лучше уж босиком.

Наконец и Озерная улица. «Мать сейчас в поле, братишка в яслях. Оставлю только узелок и умоюсь. Ведь нельзя же идти в больницу, где все белее белого, в таком виде, пусть если даже совсем невмоготу».

Пока умывался из рукомойника, висящего во дворе, кто-то открыл калитку.

— Я смотрю, вроде ты, Тауфик, а на себя не похож, — послышался за спиной удивленный голос соседской девочки Разифы. — Да что с тобой? — рассмеялась она заливисто и звонко, еще не понимая, что случилось.

Разифа — ровесница Тауфика, но по тому, как смело и уверенно держится, кажется взрослее. Впрочем, это не помешало ей подружиться с застенчивым Тауфиком и стать своей в доме Муратовых. Единственная дочь председателя райисполкома, не по-деревенски открытая и непосредственная, она пришла знакомиться, как только семья из Қысынты поселилась в доме напротив.

— Здравствуйте, Рауза-апай, — каждый раз еще с порога произносит Разифа певуче и начинает расспрашивать мать Тауфика о здоровье. Потом берет на руки крепыша Кинзягула и целует его в пухлые розовые щечки: — Братец ты мой, каким же ты хорошеньким растешь, скоро большим станешь! — Лицо ее при этом излучает свет, а черные брови ласточками взлетают вверх. — А теперь давай узнаем, как дела у твоего брата, — говорит она.

Тауфик ни разу не слышал, чтобы Разифа еще с кем-нибудь разговаривала так приветливо, как с ним, от ее голоса у него почему-то всегда пробегали по спине мурашки. Ради Разифы он готов был сделать что угодно, даже решиться на какой-нибудь невероятный отчаянный поступок, только вот не нравится ему, что она ведет себя с ним покровительственно, как старшая сестра. Зато сама Разифа довольна. Еще бы! Здесь, в райцентре, немало недорослей, подобных Кадру Кали, которые, не зная, чем выделиться, лишь кичатся, что они коренные райцентровские. Мол, хоть и не городские, но и не из какой-то там захолустной деревни. Такие не упустят случая унизить скромного паренька из Кысынты и других похожих на него ребят, приехавших из маленьких деревень. И девочка взяла на себя роль защитницы.

Порой Тауфику кажется, что она только и делает, что постоянно кого-то опекает, кому-то помогает. Может, поэтому ее избрали в школьный учком. За справедливость и трудолюбие Разифу хвалят не только в школе, но и все соседи. А мать вообще не чает в ней души! Стоит Разифе появиться у них в доме, как она сразу берет ведра и, невзирая на уговоры матери, бежит к роднику за водой — только коса прыгает на спине. Тауфик почему-то всегда долго смотрит на эту блестящую косу.

Иногда, встречая Разифу у дома Муратовых с коромыслом, ее пытается поддразнить Кадр Кали:

— Ты что, окончательно решила стать невесткой этим чернолапотникам? Ха-ха-ха, дочь ответственного кадра!..

Но Разифа даже не удостаивает его взглядом и, небрежно отодвинув с дороги плечом, идет дальше. В такие моменты душа Тауфика ликует, словно это он сам, как пешку, устраняет Кали со своего пути.

А еще Разифа прекрасно поет, танцует, участвует в школьных спектаклях. Его она тоже уговаривала выступить в концерте художественной самодеятельности, но Тауфик отказывается. Что из того, что у него есть саратов-

ская гармонь, оставшаяся от брата, и он довольно неплохо на ней играет... Еще неизвестно, понравится ли то, что любит в его исполнении Разифа, здешним людям. Ведь им приходилось слушать и баян, и пианино. А Тауфик играет всего лишь простенькие деревенские мотивы, с которыми не то что в концерте участвовать — за ворота выйти боязно.

...— Ты ушел с пахоты? — перестав смеяться, спросила Разифа уже серьезно.

— Да, пришлось...

— Но что случилось? Ты плачешь?..

— Я? Нет... Я... это... принес борщевик, возьми, — пытаясь уйти от ответа, промямлил Тауфик и снова склонился к рукомойнику. Ему не хотелось жаловаться своей заступнице.

— Спасибо за борщевик. Но я не думаю, что ты явился домой в такое горячее время только из-за этого...

— Меня отпустили, — не размыкая век и не оборачиваясь, ответил Тауфик.

— Ну-ка посмотри на меня, — и Разифа со свойственной ей непосредственностью крепко взяла его за плечо и повернула к себе. — Что у тебя с глазом?

— Репей... колючка попала. Мне надо в больницу...

— Так что же ты сразу не сказал?! Побежали быстрее!

— Я сам, Разифа, ты не ходи...

— Что значит сам? Как же ты дойдешь с закрытыми глазами? — Девочка решительно взяла его за руку: — Пошли!

В гору они поднялись почти бегом. Разифа, как поводырь, тянула за собой запыхавшегося подростка и беспрестанно повторяла:

— Потерпи, потерпи, пожалуйста. Совсем немного осталось.

Со стороны можно было подумать, что это сестра ведет младшего братишку.

К глазному врачу была большая очередь, но решительность Разифы и тут сделала свое дело. Сидящие в коридорчике люди сразу поняли, что случилось, — крестьянину не надо долго объяснять, что такое репей в глазу, — и Тауфик с Разифой быстро оказались в кабинете.

Тауфика уложили на лавку, застланную клеенкой, и медсестра, стоя над ним, очень долго закапывала в глаз лекарство. Хотя веки по-прежнему размыкались с трудом, кололо уже меньше, и он с облегчением вздохнул.

— Все еще колет? Где? — спрашивал врач и, выворачивая веки, смотрел сквозь увеличительное стекло. — Ну вот, сейчас мы ее уберем. Только не закрывай глаза.

Но глаза не слушаются приказа.

— Ну, парень, опять зажмурился?.. Все уже. Видишь, какая соринка? Тоньше острия иголки.

В глазу больше не кололо. От радости и смущения Тауфик забыл даже поблагодарить врача. Хорошо, что «защитница» не растерялась и сделала это за него.

На обратном пути Разифа снова взяла его за руку. Но не успели они дойти до дома, как от внезапной рези в глазу Тауфик чуть не закричал.

— Придется вернуться в больницу, — сказал он.

— Неужели еще колючка осталась? — встревоженно спросила Разифа. — Давай я посмотрю. Я теперь знаю, как их доставать, слышала, когда врач с сестрой разговаривали. Иди, быстрее ложись, а я за косынкой сбегаю.

...Силясь открыть глаза, Тауфик сквозь слезы видит сосредоточенное лицо Разифы. Ее тугая коса щекочет ему подбородок, а от прикосновения маленьких мягких рук становится хорошо и почему-то грустно. Девочка осторожно водит уголком шелковой косынки по глазному яблоку:

— Колет?

Как не хочется Тауфику говорить, что ему все равно больно.

Разифе ясно, что с косынкой ничего не получится.

— Тогда попробуем по-другому, — и кончиком языка она касается глаза.

Тауфик тоже слышал, как врач рассказывал, что раньше, когда не было больниц, крестьяне закапывали в глаза материнское молоко или извлекали соринки языком.

— Если и так не получится, тогда я не знаю... Тогда снова в больницу пойдем... — отчаявшись, Разифа сама уже готова заплакать.

Но вдруг боль прекратилась, стало легко и свободно. И Тауфик потихоньку открыл глаза:

— Разифа... Нет репья! Ты его вытащила!

Глядя на него, девочка почему-то начинает плакать.

В этот момент в открытом окне появилась физиономия Кадра Кали, уже давно наблюдавшего за ними:

— Разифа, выйди на минуту, мне нужно тебе что-то сказать, — зовет он, ехидно улыбаясь.

— Чего тебе, мне некогда!

Но Кали неумолим:

— Что значит некогда? Чем это ты занята? Лучше выйди, а то скажу твоей матери, что ты с этим... из Кысынты обнимаешься.

— Беги, хоть сейчас, — отвечает Разифа гневно. — Только не торчи, как шпик, под окнами и глаза не мозоль.

Но Кали возникает в оконном проеме в третий раз и, захлебываясь от злости, кричит:

— Ага, целуетесь!.. Они целуются, целуются!..

Вскочив, Разифа захлопывает окно, чуть не защемив ему нос, и даже задергивает занавеску с красными розами.

— Вот липучка! — произносит она возмущенно.

4

Вечером, уходя домой, Разифа взяла с Тауфика обещание не ходить завтра на пахоту и отлежаться, пока не пройдет воспаление.

Какое, оказывается, блаженство — чувствовать себя зрячим! В глазах не колет, и недавняя мучительная боль быстро забывается.

Уже в сумерках расположились во дворе ужинать. Мать, разливая ароматный, щекочущий ноздри суп из борщевика, сказала Тауфику:

— Утром тебя будить не буду. Отдыхай. Вон какой ветер! Пока дойдешь до поля, все глаза забьет пылью. Еще станет хуже.

Укладываясь на сеновале, он думал: как хорошо, что завтра не надо вставать через силу! Можно спать сколько захочется!

Но на заре Тауфик проснулся и, сколько ни ворочался с боку на бок, заснуть снова так и не смог. Надо же, когда обязательно нужно вставать, когда тебя будят — хочется спать, а когда вольная воля — проснулся раньше обычного. Видимо, разбудил гул трактора, то отдаляющийся, то нарастающий. Вслед за ним прилетел ветер с поля, за ночь вобравший в себя все его запахи и теперь заполнивший ими село. Тауфик ясно чувствовал дурман свежевспаханной земли, острый дух осота. А не явился ли он, этот степной гонец, звать пахаря на пашню? И сразу беспокойная мысль мелькнула в сознании: «А вдруг, если я не приду сегодня, Пегую и Тауиса дадут кому-то другому? И этот кто-то начнет хлестать лошадей, безропотно тянущих тяжелый плуг?»

Нет, такое Тауфик вытерпеть не мог. Разыгравшееся

воображение мигом стряхнуло остатки сна. Тихонько, чтобы не услышала мать, спустился с сеновала, умылся. Глаза нисколько не болят — не будет же он весь день торчать дома и бить баклуши! Только вот как незаметно выскользнуть за ворота, чтобы избежать лишних разговоров?

Но разве уйдешь тайком от матери? Она уже давно на ногах и, собираясь доить корову, сама ходит осторожно, чтобы не загреметь чем-нибудь и не разбудить сыновей.

— Бэрэмэс, Тауфик, ты чего встал?

— Я решил идти в поле, мама. Ну что я буду сидеть дома?

— Хочешь совсем без глаз остаться?

— Да они у меня уже не болят...

С трудом он все-таки уговорил мать отпустить его. За воротами она наставляла сына:

— Кепку надвигай ниже на глаза, от ветра их козырьком заслоняй. И грязными руками не три, слышишь? — уже крикнула ему вслед.

На ходу Тауфик оглянулся на дом под высокой крышей: как бы не заметила Разифа. От нее так просто не отделаешься, еще заставит вернуться.

Но в доме еще тихо, Разифа конечно же спит, и, значит, опасаться нечего. И не чувствуя ног он припустился по дороге к лугу, окутанному облаками густого утреннего тумана. Как легко бежать, как дивно пахнет утренний воздух!

— Динь-динь, динь-динь, — доносится сквозь туман знакомый звук ботала. Теперь не трудно догадаться, в каком месте низины искать лошадей. Вот и вырисовывается знакомый силуэт Тауиса. А рядом — Пегая. Они по привычке пасутся, не отходя далеко друг от друга. Старая кобыла, почувствовав приближение мальчика, тихонько заржала. И Тауис, дружелюбно фырча, ткнулся мордой, ожидая, когда ему дадут ломоть хлеба. Эх, знал бы он, каким мукам подверг хозяина из-за своей блудливости и непослушания! Но сегодня Тауфик на него уже не сердился.

Из тумана показалась фигура дяди Музафара.

— Я так и думал, если станет полегче, не утерпишь, придешь, — обрадованно сказал он, увидев Тауфика. — А то время-то уходит, и пахать еще много. Молодчина! Ты настоящий пахарь!

...Надо скорее взнуздать Тауиса и подниматься с какбудто залитой молоком луговины к полю. Он любит этот путь, дающий ни с чем не сравнимое чувство полета. И как всякий мальчишка, пусть даже успевший стать настоящим

пахарем, Тауфик не прочь пофантазировать и поиграть в сказочных героев. А потом он снова спустится на землю, и она будет выбегать у него из-под ног черной лоснящейся лентой, от запаха которой приятно кружится голова.

...Уставший, с перекинутыми через плечо уздечками, Тауфик шагал по Озерной улице, совершенно забыв о вчерашнем уговоре с Разифой. И, уже подходя к своим воротам, неожиданно столкнулся с ней.

— Вот, значит, как... А еще слово давал! — обиженно сдвинув брови, сказала она. — Почему ты сбежал?

Тауфик, потупившись, большим пальцем ноги ковырял землю на дороге и молчал. Ему было досадно, что он, такой пропыленный, с грязными босыми ногами, стоит сейчас перед ней, красивой и нарядной, и не знает, что сказать.

— Не больно же... — только и выдавил из себя.

— Не больно, не больно... — передразнила его Разифа, уже входя в привычную роль старшей сестры. — Когда станет больно, будет уже поздно. Так ведь серьезно могут глаза заболеть. И все из-за какого-то упрямства. Подумать только, целый день ходить на ветру по полю... — и уже совсем по-взрослому возмущалась она, поджав губы и забросив за спину толстую косу.

— Мне не стало хуже, правда... Глаза вовсе не болели... — бормотал Тауфик виновато.

— Ну хорошо, — смилостивилась Разифа, — тогда дай слово, что дальше во всем будешь меня слушаться, как старшую сестру.

— Но ты ведь не старшая сестра...

— Все равно. А то придумаю тебе наказание, — засмеялась она и легонько хлопнула Тауфика по спине ладонью.

— Какое еще наказание?

— Нет, ты сначала дай слово. А то ты на своего Тауиса жалуешься, а сам такой же упрямый и все делаешь наоборот.

— Ну, ладно, согласен, — подумав, сказал Тауфик.

— Не отступишься от обещания?

— Не отступлюсь.

— Тогда вот что. Как поешь и передохнешь немного, бери гармонь и приходи к озеру. Там сегодня многие будут. Пусть узнают, как ты хорошо играешь. А я, может, спою.

Вот еще новость! От такого неожиданного поворота Тауфик заморгал глазами и даже попятился, будто испугавшись:

— Нет, нет, Разифа, что ты...

— Нет! — сказала в свою очередь и Разифа. — Это уж вовсе не по-мужски получается. Ты же дал слово, тебе не совестно?

Тауфик уже пожалел, что так быстро поддался ее уговорам и, не узнав, в чем дело, согласился слушаться во всем.

Последние год-два он уже довольно неплохо играл на гармошке с колокольчиками, именуемой саратовской. Однако весь его «багаж» составляли только песни, которые поют в деревушке Кысынты. И выходить на люди с таким «репертуаром» было бы просто самоуверенностью! Здесь в каждом доме черные тарелки репродукторов целыми днями передают музыку и песни из Уфы и даже из Москвы. А большой серебристый громкоговоритель, висящий на главном доме села, называемом всеми Домом культуры, играет так громко, что не захочешь, а все равно услышишь. И после этого выходить за ворота с саратовской?.. «Из какой деревни этот хвастливый осенний петушок?» — скажут люди. Засмеют — потом и глаз не посмеешь поднять.

Если бы он умел играть как его старший брат!

Он погиб совсем молодым, и Тауфик ничему не успел у него научиться! Брат, хоть и вырос в деревне, где всего тридцать дворов, и за свою короткую жизнь никуда далеко не уезжал, слыл в округе первым гармонистом. Его приглашали в соседние большие села на игры, праздники и свадьбы. И куда бы ни звали, он охотно соглашался, не заставляя себя долго упрашивать, потому что, как считал, представлял перед людьми не себя, а свою маленькую деревушку Кысынты.

Отважился он как-то поехать и на районный смотр художественной самодеятельности. Перед избалованной райцентровской публикой он не постеснялся играть на саратовской гармошке незатейливые мелодии, которые любил с детства, и неожиданно для себя занял первое место.

Та же самая саратовская гармонь в руках брата звучала совсем иначе. И хотя говорят, что у нее узкий диапазон, у брата она словно обретала второе дыхание. Он свободно играл и старинные народные башкирские песни, и те, что распевала вся страна — «Родину», «Катюшу», «Если завтра война». Для того, кто понял «душу» саратовской, она превращается в волшебный музыкальный инструмент. Тауфик любит эту гармошку и вряд ли променял бы ее даже на баян, не говоря уже о том, что она — память о брате.

У Разифы же — пианино, она легко подбирает на нем не только башкирские, но и русские мелодии и пытается зазвать Тауфика послушать ее игру. Но Тауфик очень стесняется заходить в этот дом, где все убрано по-городскому, незнакомыми ему вещами, гладкой мебелью и всякими красивыми безделушками. Если Разифе, несмотря на сопротивление, все-таки иногда удается затащить его к себе, он так и остается у порога, испытывая страшную неловкость, и от волнения совершенно не воспринимает, что она играет.

Тауфик предпочитает слушать ее игру через окно, с улицы, чем находиться в этом уютном, но непривычном для него мире, пусть даже он всего лишь через дорогу.

Зато Разифа — стоит ему только растянуть свою саратовскую, мигом оказывается у Муратовых. «Сыграй, пожалуйста, кысынтинские песни, — просит она. — Я их очень люблю!» И он не отказывается.

...Но сегодня он должен играть не дома, не во дворе, а у озера, на людях! У Тауфика даже мурашки пробежали по спине. Как же быть?

А слово уже дано.

...Завернув гармонь в черный материн платок и вороватo оглядываясь по сторонам, словно за ним кто-то следил, Тауфик направился к озеру.

Стоял тихий погожий вечер, красное закатное солнце бросало последние, уже нежаркие лучи, и у воды было особенно хорошо. Возле противоположного берега плескались и визжали ребятишки, разноголосый смех доносился с лодок, то ли случайно, то ли по уговору сбившихся на середину озера.

Разифа сидела на носу небольшой лодочки, которую не так давно привез откуда-то ее отец. Провисев зиму в сеннике, с началом лета эта лодка была спущена на воду, и девочка стала ее полновластной хозяйкой. Однако чаще на лодке катались подруги Разифы и даже некоторые мальчишки — она никому не отказывала.

— Ну и долго же ты! — воскликнула Разифа, увидев Тауфика. — Пока ты собирался, этот липучка Кали твое место хотел занять. Два раза подходил, предлагал погрести...

Разифа привычным движением оттолкнула лодку от берега и легко запрыгнула в нее.

— Что же ты?.. Играй, а я буду грести, — сказала она, садясь за весла. — Играй!

Қак раз этих минут Тауфик и боялся. Сердце стучало так гулко, что казалось, было слышно рыбам на глубине. Ведь на озере — как на сцене, оно в середине села, звуки распространяются далеко.

— Разифа, знаешь... Это... Давай лучше я погребу, — сказал Тауфик, стараясь оттянуть время, и положил гармошку. Сейчас он, как утопающий за соломинку, готов был ухватиться за что угодно — лишь бы не играть.

— Хорошо, — согласилась она, видимо поняв его состояние. — Скажешь, когда тебя сменить, — и пересела на корму.

Они дважды пересекли озеро от берега до берега. Тауфик греб и думал о том, как выйти из положения, в которое так глупо попал. Разифа молчала. Қогда они оказались на середине озера в третий раз, она заметила, что к ним кто-то плывет.

Тауфик стал искать глазами лодку.

— Нет, вон голова из воды торчит, — показала Разифа и поморщилась: — Это, наверно, Қали... Ты придумай что-нибудь, чтобы он от нас отвязался.

— Ладно, — чуть выдохнул Тауфик и густо покраснел, смущенный ее просьбой. Она как бы подчеркивала их особые отношения. Еще можно было легко выполнить просьбу Разифы — налечь на весла, и незадачливый пловец — а пловец, по всему, он был никудышный — так и остался бы посреди озера, но Тауфик, оглушенный своим гулко бьющимся в висках сердцем, несколько замешкался.

Пловцом действительно оказался Қали. Воспользовавшись замешательством Тауфика, он ухватился одной рукой за борт, а другой поднял сноп не распустившихся еще кувшинок, выдранных прямо с корнями. Его длинные мокрые волосы облипали лицо.

— Это тебе, Разифа, — сказал он, приторно ухмыляясь.

— А ты, оказывается, рыцарь, — неожиданно улыбнулась Разифа, когда в лодку упала целая охапка мокрых цветов. Но тут же нахмурилась: — Ой, зачем ты их столько нарвал, они и распуститься-то еще не успели...

— Распустятся в твоих руках, — льстиво заверил Қали и, пытаясь перевалиться через борт, чуть не перевернул лодку.

— Да ты что!.. Куда?.. — пробовала остановить его Разифа. — Утопишь нас, лодка не рассчитана на троих...

— А мы вот этого кысынтинского ухажера спустим за борт. Нечего садиться в лодку ответственного кадра, пусть

знает свое место. — Кали, видимо, решил, что цветы свое дело сделали и благосклонность Разифы на его стороне.

— А ну-ка убирайся, — возмутилась Разифа и, выхватив у Тауфика весло, замахнулась им на Калимуллу.

Тот от неожиданности отпустил руки и с головой ушел под воду, но, вынырнув, еще долго продолжал преследовать лодку, отфыркиваясь и по-лягушачьи отбрасывая ноги.

— Эй, Разифа... а ты совсем нос задрала, — отдышавшись, крикнул Кали. — Человек ей цветы дарит... — В голосе его уже не было прежней бравады.

— На́ свои цветы, на́! — и, схватив лежавшие охапкой кувшинки, Разифа бросила их прямо на голову Калимуллы.

Все это видели парни и девушки на ближних лодках. Над озером послышался смех:

— Молодец, Разифа! А то он сам не знает, что ему надо, только лезет ко всем.

Кали обозлился из-за того, что его выставили посмешищем, но отыграться решил не на Разифе и не на тех, кто над ним смеялся, а на Тауфике, которого возненавидел, как только тот переехал в райцентр. Озеро в этом месте оказалось мелкое, всего по грудь Кали. Резко ударяя ладонью по воде, он стал брызгать на Тауфика, видимо ожидая, что тот сорвется и полезет драться. Но Тауфик в ответ не сказал ни слова, опасаясь, как бы не намокла гармонь, положил ее на колени и, повернувшись спиной к Калимулле, закрыл собой.

Разифа тем временем, сев за весла, быстро развернула лодку, направила ее носом прямо на Кали, и будущий ответственный кадр, сверкнув тем местом, с которого сползли красные трусы, судорожно молотя руками, устремился к берегу.

На соседних лодках снова засмеялись.

— Трусливый петух-то оказался, — заметил кто-то.

Одна из девушек успела разглядеть, что в платке на коленях у Тауфика гармонь, и, явно поддразнивая его, сказала:

— Разифа, а мы все гадали, что там обнимает твой приятель. Оказывается, гармонь. Он что, вынес ее, чтобы только похвалиться?..

— Сыграй что-нибудь задушевное. А мы долго ждать не заставим, подпоем, — начала уговаривать Тауфика другая.

Две большие лодки с двух сторон зажали маленькую

лодочку Разифы — веслами не взмахнуть, хоть выпрыгивай и вслед за Кали плыви к берегу. Тауфик окончательно стушевался и, втянув голову в плечи, сидел молча.

— Ох уж эти гармонисты! — подначивали девчата. — От велика до мала все ломаются, ждут, чтобы их упрашивали...

Не поднимая глаз, Тауфик стал развязывать платок.

— Давно бы так...

— А то катались без музыки...

— Вы начинайте петь, а я подыграю, — нашелся Тауфик.

— Да он, оказывается, и говорить умеет! А мы думали, и хозяин, и гармонь — безголосые, — засмеялась та, что первой заметила гармонь на коленях у Тауфика. — Нет, так не пойдет. Гармонь всегда начинает, а певцы подхватывают.

— Я ведь не знаю, какие песни вы здесь поете, — смущенно оправдывался Тауфик. — Как начнете петь, я подберу мелодию. — Ему стало ясно, что играть все равно придется, раз уж на людях взял в руки инструмент. Только вот не опростоволосится ли он, не рассмешит ли своей игрой райцентровских парней и девчат?

— Ладно уж, выполним его условие. Может, и вправду в их деревне все делают наоборот, — хохоча, согласились девчата. Одна из них глубоким грудным голосом запела:

...Шумят, шумят над Агиделью[1] травы,
Плывут, плывут по волнам пароходы,
И грустью их гудки пронзают сердце...

Оказывается, в райцентре поют те же песни! Тауфик знал эту песню с тех пор, как помнил себя. И, почувствовав уверенность, осторожно растянул гармонь и негромко заиграл.

Но постепенно девушки одна за другой замолчали, и только мелодия, чистая и светлая, лилась над озером. Тауфик совсем уже успокоился и потому играл уверенно и свободно. Когда кончил, тишину сразу нарушили возгласы:

— Вот не знали, что на нашей улице есть свой гармонист!

— Разифа, почему ты это от нас скрывала?

[1] Река Белая.

— Наверное, боялась, что уведем его...

— Тауфик, может, сыграешь на берегу и устроим танцы?..

Тауфик уже не замирал от страха, начиная очередную песню, и на лодках, которые кружились на середине озера, едва не задевая друг друга бортами, тут же подхватывали ее. Вот ведь как — хорошие песни всюду одинаково любимы: и в маленькой деревне, и в райцентре. Он совсем перестал стесняться острых на язык и смешливых девчат и немногословных парней. А то, что сидящая напротив Разифа довольно улыбалась и одобрительно кивала ему, было приятнее всего. Тауфик смотрел на ее нежное лицо с ямочками на щеках, брови-ласточки и среди множества голосов, довольно красивых и сильных, слышал только ее голос, казавшийся ему самым красивым. Необъяснимая радость переполняла его.

Фиолетовые сумерки стали застилать берега, и постепенно смех на лодках стих, словно строгая задумчивость вечера передалась людям. И песни были уже другие — наполненные грустью. Их пели вполголоса:

...Погубили мою березку,
На которую я смотрела,
Грустя о тебе, Искандар...

Ты вернись, хоть на день, хоть на час —
И не будет счастливее нас...

Всем, кто коротал этот вечер у озера, были близки задушевные, будто мягко стелющиеся по уже невидимой воде деревенские песни и чистые, немного наивные переборы саратовской, от которых то безудержно тянуло в пляс, то вдруг овевало грустью.

Но вот гармошка, словно споткнулась, замолкла на середине песни. Ее заглушил громкоговоритель на Доме культуры. Включенный на всю мощь, он сразу развеял покой, воцарившийся было над селом. Голос диктора гулко и тревожно отдавался от тихой воды. Передавали последние известия. С каждым днем они становились все тревожнее, страшили сельчан неминуемостью близкой войны:

— ...Германские самолеты бомбят города Великобритании... ...Военные действия в Африке и бассейне Средиземного моря становятся все напряженнее... ...Военные действия в Китае... ...По имеющимся данным, Германия подтягивает войска к границам Советского Союза. Но эти данные не уточнены. Возможна провокация...

Сразу расстроилось гулянье на озере. Темнота ночных улиц поглощала одинокие фигуры — расходились молча, не думая ни о танцах, ни о песнях. Сознание опасности, коварно подползавшей к стране все ближе и ближе, переполняло сердца.

Причалив к берегу, Разифа поставила лодку на прикол и, положив весла на плечо, не говоря ни слова, пошла к дому. Тауфик, тоже молча, брел сзади, неся завернутую в платок гармонь, которая казалась ему сейчас неуместной, лишней. Напротив своего дома Разифа остановилась и, повернувшись к Тауфику, сказала срывающимся голосом:

— Неужели будет война?! Боюсь!..

Тауфику непривычно было слышать от нее слово «боюсь». Самая смелая девчонка в школе, член учкома, любое дело так и горит в ее руках — не зря мать ее называет «огонь» — и вдруг «боюсь!»

— Не бойся, не будет войны! — неумело пытался успокоить ее он. И добавил уже твердо: — Между нами и Германией есть пакт о ненападении.

— Папа говорит, надейся на них... — почти шепотом сказала Разифа.

Да, в последнее время и Тауфик часто слышал от взрослых: «Разве можно верить фашистам!»

— Не бойся, — повторил он, уже не зная, кого убеждает больше — себя или Разифу. — Пусть только начнут против нас войну — быстро свернут себе шею. Красная Армия им покажет...

Но Разифа продолжала горестно:

— Боюсь... Сколько людей погибнет... А если и до нас дойдет?..

— Нет, если враг нападет, мы будем бить его на его же территории, — сказал Тауфик, явно повторяя слова, в последнее время часто мелькавшие в газетах и громко произносившиеся в докладах. Он, как мог, пытался успокоить Разифу, обычно всегда уверенную и нетеряющуюся. А теперь она с тревогой смотрела на него, как маленькая девочка, словно искала у него защиты, и он впервые почувствовал себя старше Разифы и готов был защитить ее от всех возможных бед и тревог...

— Ой! — спохватилась вдруг Разифа. — Тебе же рано утром в поле... Надо идти. Спасибо за гармонь, Тауфик! Ты молодец... И спокойной ночи!..

— Спокойной ночи! — ответил Тауфик, испытывая не-

знакомое щемящее чувство грусти, и, стараясь перебороть волнение, добавил: — Ты не бойся!..

Две тени метнулись в разные стороны, к домам, стоящим напротив друг друга.

5

Ночью на западе, над дальним лесом Кургы, сверкали молнии, глухо погромыхивал гром. Иногда в село волнами пробивалась прохлада, несущая в себе запах дождя. Воздух сразу посвежел, стало легко дышать, а к рассвету закапали редкие капли.

Тауфик и Фарваз проснулись от того, что ветер стал забрасывать к ним на сеновал капли дождя. Поеживаясь, быстро собрали постель и перебежали с сеновала в дом, но, оказалось, напрасно. Дождь прошел стороной, почти не задев села.

Но едва они уснули, согревшись на новом месте, как их разбудил голос матери Тауфика:

— Вставайте, вставайте, пахари, — трясла она их за плечи все настойчивее. — Обрадовались, что дождь, а на дворе сухо.

Поднявшись, Тауфик снова пожалел, что вечером долго гулял. Невероятно хотелось спать. Но что поделаешь, он каждый раз убеждался, что утреннее решение для вечера не годится: после пахоты, как бы ни устал, всегда тянет на улицу.

«Вот и вчера... — подумал он, медленно жуя хлеб. — Вчера тоже... Постой, ведь вчера я был с Разифой на озере... Ведь не приснилось же это!» Тауфик улыбнулся, вспоминая этот удивительный вечер, и сон как рукой сняло.

На улице было ясно и тихо. Над горизонтом поднималось большое красное солнце.

Первый, кого встретил Тауфик на пашне, был дядя Музафар.

— Так и не дождались дождя, — хмуро сказал он, покусывая травинку. — Нам-то, конечно, хорошо пахать в ясную погоду, а хлебам нужен дождь... Всходят хлеба ладно, а без дождя не поднимутся. Влага нужна, — ковырнул он землю сапогом. — Если с хлебушком будет туго, за одну зиму жизнь хуже станет.

Как всегда, приставив ладонь козырьком ко лбу, он

смотрел в небо. Но в небе — ни облачка. Похоже, что сегодня будет особенно жарко и душно — солнце калит уже с утра, и хочется пить.

— Ну что, тронемся? — берет хомут дядя Музафар и добавляет: — Хоть и нет дождя, о завтрашнем дне все равно думать надо.

Поле они пашут под пары — для урожая будущего года. Прежде чем его засеют осенью, оно должно отдохнуть, подышать, набраться сил.

Запрягли лошадей. И наступили самые приятные для юного пахаря минуты: срезан первый пласт земли, силы еще свежие, и дается он легко, только стал уже заметно суше, чем вчера, распадается на комья — у земли тоже жажда.

Уже к обеду Тауфик почувствовал, как сильно устал — давало себя знать недосыпание. Перекусив, он не пошел, как обычно, побродить с другими ребятами по соседнему лесу, а прилег. Стоило ему подложить под затылок мочальные вожжи и прикрыть сплющенной в блин кепкой лицо, как тут же, точно в бездонный омут, провалился в глубокий сон.

Два часа пролетели словно один миг. Кажется, только заснул, а уже будят. И все же каким легким стало тело! Отдохнули ноги — хоть пляши. Теперь за плугом он не устанет до конца работы, а вечером опять выйдет на гулянье. Если Разифа не зайдет за ним, он возьмет гармошку и сам позовет ее покататься на лодке. Он чувствует, со вчерашнего вечера что-то переменилось в нем, будто преодолел какой-то невидимый барьер, и теперь способен на самый отчаянный поступок.

К концу дня на поле обычно появлялся бригадир и сразу брался за двухметровую сажень, похожую на растопыренную букву «А». Работал он быстро, шагая так широко, словно и сам был саженью, — Тауфик лишь удивлялся, как терпят его брюки. Обмерив пашню вдоль и поперек, доставал из висевшей на боку полевой сумки бумагу и карандаш, сообщал каждому его дневной результат. «Ну, браток, ты молодец, — говорил он Тауфику уже не впервые, — перевыполнил норму!» «А ты, Фарваз, не отставай от дружка, а то у тебя лошади что-то округлились».

От таких слов Тауфик будто становился выше ростом Да что норма! Он бы и еще мог пахать, если б лошади не устали! Интересно, что сказала бы Разифа, услышав эту похвалу?..

...Сегодня бригадир появился сразу после обеда. Было странно видеть его в поле в такое время. Тауфику сразу бросилось в глаза, что спустился он с коня грузно, прямо-таки сполз мешком, и, оставив его у края пашни, шел теперь навстречу людям не обычным широким шагом, а медленно, тяжело. Издали даже могло показаться, что бригадир пьян, хотя все знали, что он в рот не берет спиртного.

Бригадир подозвал к себе дядю Музафара и вместе с ним на меже стал дожидаться остальных пахарей, начавших очередной круг.

Постепенно собрались все. Смуглые и пропыленные, люди выжидающе смотрели в хмурое и тоже потемневшее лицо бригадира. А он, не в силах сказать, ради чего приехал, тягостно молчал. Было ясно, что скажет он что-то недоброе, горькое.

— Вот что, братцы... — голос его был сдавленным, сиплым. Затем, набрав воздуха, словно для того, чтобы поднять из глубины слова, давившие на него непомерной своей тяжестью, сказал: — Вот что... Сделайте еще один-два круга — и распрягайте. Велено собраться всем возле райкома. Митинг будет... — что-то мешало ему договорить главное.

Каждый всем своим существом страшился и в то же время ждал последних его слов, жутких, неотвратимых...

— Война началась!

— С кем?

— Когда?

Бригадир отвечал отрывисто:

— ...Сегодня на рассвете... Германия ведет наступление по всей нашей границе... — затем, круто повернувшись, как будто боялся новых вопросов, быстро пошел к своему коню. И, уже взобравшись на него и проехав немного, оглянулся: — Мне еще нужно успеть к тем, кто на прополке. — Голос прозвучал виновато, а сам он, обычно сидящий на лошади прямо и горделиво, как-то сгорбился и поник. На краю пашни сиротливо осталась стоять ясеневая сажень, до которой сегодня никому не было дела.

Бригадир уже скрылся из виду, но никто не расходился. Стояли молча, не в силах сдвинуться с места, пригвожденные грозной вестью, еще полностью не укладывающейся в сознании. Лишь через некоторое время голос дяди Музафара нарушил скорбную тишину:

— Что ж, давайте, как нам сказали, пройдем еще по два круга.

Тауфик с удивлением заметил, каким серым вдруг сде-

лалось его лицо. До подростка еще не дошел весь ужас случившегося. Все так же палит солнце, так же деловито вышагивают по пашне грачи и будто начищенные до блеска неутомимые скворцы.

— Скрип-скрип, скрип-скрип, — отдохнувшие Пегая и Таус как ни в чем не бывало дружно потянули плуг. Все шло как обычно. И в черную весть уже не верилось. Только странным было, что бригадир, сильный и крепкий человек, так сразу растерялся и сник.

Сейчас он уже, наверное, на прополке. А ведь там и Разифа. Тауфик представил, как она узнает эту страшную весть. Разифа хоть и смелая, но ведь все равно девчонка. Еще вчера вечером она говорила, что начнется война, а он спорил, ссылаясь на пакт о ненападении. Действительно, надейся на фашистов...

С такими неотвязными тревожными мыслями Тауфик незаметно закончил два круга. «Нет, нельзя поддаваться панике, — внушал он себе, — раз уж есть на земле фашисты, когда-нибудь они должны были столкнуться с Советским Союзом. Этот день и настал. И не надо думать о нем с ужасом. Непобедимая Красная Армия разобьет врагов...»

Лошадей распрягли и, как обычно, оставили пастись в низине. Домой Тауфик шел бодро, не испытывая уже того первого тягостного чувства: «Конечно, плохо, что война, но зарвавшихся фашистов быстро разобьют». Лишь изредка он оглядывался на понуро шагавших сзади мужчин. До него доносились обрывки их разговоров о войне, и Тауфик жалел сейчас только о том, что он не родился лет на пять раньше — тогда бы и он был в рядах Красной Армии. А так война быстро кончится — и ему не придется участвовать в разгроме фашистов.

Райцентр был похож на растревоженный муравейник: никто в такой час не мог усидеть дома, и в Тауфика снова вселилась тревога. Он и не подозревал, что в селе живет столько народу. На улицах собирались толпами, стараясь узнать друг от друга подробности страшной вести. Беда, ворвавшаяся так внезапно, объединяла людей.

Из разговоров, которые улавливал Тауфик, многое было непонятно. Он узнал лишь, что война, начатая Германией рано утром, идет уже по всем западным границам страны — от Черного моря до Ледовитого океана, и что фашистские самолеты бомбят наши города, а пограничные войска самоотверженно сдерживают натиск врага.

Людской поток, стекавшийся с окраинных улочек к

центру, неумолкающее многоголосье и слезы вселяли тревогу и чувство страха. Значит, не так просто разбить этих фашистов, как ему представлялось, а ведь говорили, врага будем бить на его территории...

Большая площадь перед райкомом, запруженная народом, была напряженно-тихой, будто люди, ступив на нее, теряли дар речи — сразу прекращались все разговоры. Тауфик посмотрел туда, куда в ожидании новых сообщений настороженно смотрели сейчас все. Но громкоговоритель на Доме культуры передавал военные марши. Два часа назад по радио уже сообщали о начале войны и ходе военных действий, но понять, отступают или обороняются наши пограничные войска, было трудно. Слишком расплывчато и туманно об этом говорилось. Ясно одно: началась жестокая, невиданная по своей разрушительной силе война.

Кажется, уже все село собралось на площади. Руководители района с сосредоточенными и суровыми лицами то исчезали за дверями райкома, то снова выходили к трибуне, перед которой обычно проходили первомайские и октябрьские демонстрации, но митинг все не начинали. Многие были в гимнастерках с отложным воротником, подпоясанных широкими скрипучими ремнями, брюках-галифе и хромовых сапогах с высокими голенищами — предчувствие возможной войны, охватившее мир, отразилось даже на моде. И отец Разифы, появившийся на крыльце, был одет так же.

Увидев его, Тауфик сразу подумал о Разифе. Надо скорее разыскать ее, ведь все, кто был на прополке, тоже пришли сюда.

Она стояла совсем недалеко. Заметив Тауфика, грустно улыбнулась. Глаза у нее были заплаканные.

— Вот видишь, а ты не верил... — И она кивнула в сторону двери, откуда только что вышел ее отец: — Папа в последнее время говорил, что войны не избежать, надо только любыми путями оттянуть ее, чтобы усилить оборону и быть готовыми дать отпор. — И уже шепотом продолжала: — Многие города разрушены... Горят деревни... Столько людей погибло! — голос ее задрожал, и она отвернулась.

Наконец деревянную трибуну, возвышавшуюся на площади, заполнили работники райкома, райсовета и военкомата. Слово взял первый секретарь, и, хотя он старался говорить спокойным и уверенным голосом, было заметно, что он не меньше других потрясен случившимся. Его слушали



затаив дыхание. Правда, все, что сказал секретарь, Тауфик уже знал от встречных людей, но только теперь он окончательно понял, какая беда и опасность нависла над страной и народом.

— Товарищи! — продолжал секретарь райкома. — В целях быстрейшего разгрома вероломно напавшего врага объявляется мобилизация. Ей подлежат мужчины рождения тысяча девятьсот пятого — тысяча девятьсот восемнадцатого годов, годные к строевой службе. С сегодняшнего дня они считаются призванными в ряды Красной Армии. Уже завтра первые из них отправятся на фронт... Настало трудное время. Поэтому всю работу в тылу — на заводах, фабриках, в колхозах — придется выполнять в основном женщинам, пожилым людям и подросткам. Всюду, на любых участках, невзирая ни на какие причины, нельзя сбиваться с трудового ритма. Если мы поддадимся панике, растеряемся и станем работать вполсилы, это будет на руку врагу.

Последние слова особенно подействовали на Тауфика. Он как будто взглянул на себя со стороны: нет, в отличие от некоторых, он не опустил руки и не запаниковал. И, стараясь принять еще более бодрый вид и распрямляя плечи, оглянулся по сторонам: пусть видят, пахарь Муратов хоть сейчас готов снова идти в поле, у него даже уздечки при себе.

Он почти забыл про Разифу, стоящую рядом, углубившись в свои мысли. А когда посмотрел на нее, заметил горестную складку над ее бровями.

После первого секретаря говорил ее отец. Слушая его, девочка подалась вперед и пальцами судорожно теребила косу. Затем, повернувшись к Тауфику, со слезами в голосе прошептала:

— Папа тоже уходит на фронт...

Тауфик, не зная, чем ее утешить, молчал. И, не найдя слов, осторожно взял Рафизу за локоть. «Мать, наверно, тоже плачет, — подумал он, представив, как она прижимает к себе маленького Кинзягула. И хотя у них некому призываться на фронт, ей, как и всем, тяжело. Конечно, вспоминает сейчас и рано умершего отца, и старшего брата, уже сложившего голову на финской войне. — Тауфик вздохнул. — В последнее время у нее появилось много седых волос, она очень добрая и все принимает близко к сердцу... Теперь, когда пришла беда, ей остается надеяться только на него, Тауфика...»

Подумав так, он ощутил подкативший к горлу комок и, круто повернувшись и ничего не сказав Разифе, стал продираться сквозь толпу, даже не дослушав выступление.

По дороге он обдумывал, что скажет матери, чтобы подбодрить ее. Но стоило отворить калитку, как все слова куда-то улетучились. Мать ждала его, и хотя старалась казаться спокойной, однако на лице ее, сразу осунувшемся, отразилась глухая боль и тревога, еще заметнее стали морщинки у глаз.

Повесив узду в сарае, Тауфик понуро подошел к рукомойнику. Мать, держа на руках Кинзягула, выжидающе смотрела на него: понял ли сын, какое бедствие обрушилось на всех и каким непосильным бременем ляжет оно на их маленькую семью? Понял ли он, что кончилось его и без того нелегкое детство? Догадывается ли, какая непомерная ноша и ответственность уже совсем скоро ляжет на его плечи?

Когда Тауфик умылся, мать, по-прежнему молча, посторонилась, пропуская его в дом, а сама зашла в летнюю кухню, примыкавшую к сенцам.

Из задумчивости Тауфика вывел ее голос, звучавший ровно и спокойно, как будто ничего не случилось:

— Сейчас я тебя накормлю. Проголодался, наверно... Все уже готово — и суп, и чай.

Тауфик в недоумении поднял голову. «Почему она так спокойно говорит? Неужели еще ничего не знает?»

— Да-а, такие вот дела, сынок... — вздохнула мать, поняв его удивленный взгляд.

«Нет, знает... В глазах такая боль... — он только сейчас увидел их близко. — А внешнее спокойствие — это просто выдержка. Это она передо мной старается быть стойкой».

Мать тихонько провела рукой по его волосам:

— Ешь, сынок. — И присела рядом, пытаясь улыбнуться. Они поняли друг друга без слов.

Вечер казался бесконечным — то ли от горестных мыслей, то ли от того, что раньше обычного вернулись с пахоты. Тауфик не знал, куда себя деть. Взяв топор, подправлял во дворе изгородь, клети. Но времени до сна оставалось еще много. Если бы можно было вернуть вчерашний вечер! Когда еще был мир и так хорошо пелось на озере!.. Сегодня все это представлялось зыбким сном. Ощущение

беды переменило даже отношение к окружающим предметам: не то что игра на гармони — одна мысль о ней казалась дикой и кощунственной.

Тауфик вышел на огород, помочь матери окучить картошку, и здесь расстроился еще больше. От жары ботва повяла и обвисла, как уши у кутенка. Горячая земля обжигала босые ноги...

Уже в сумерках на западе неожиданно появилась грозовая туча. Прерывистые красные молнии бесшумно прошивали горизонт, воздух стал еще более душным.

— Неужели опять стороной пройдет? — обеспокоенно сказала мать. — Все бродит вокруг да около, а до нас никак не дотянется. — И хлеб, и картошка без дождя пропадут...

Она вышла на улицу, и вскоре вернулась довольная:

— Одна туча, похоже, завернет к нам. Дай бог, исцелит дождь землю.

Нет, все-таки поразительно: сколько выдержки в ней. Вначале, когда Тауфик возвратился с митинга, единственное, что сказала мать, — что его надо накормить. Потом, в огороде, переживала, уродится или нет картошка, пойдет ли наконец дождь. Но о главном — о войне — не произнесла ни слова.

Когда Тауфик уже собрался на сеновал, мать остановила его у двери:

— Спи сегодня дома. И Фарваз твой не придет. Может, небо смилостивится да пошлет нам влагу, — она смотрела на сына почти с мольбой, и он понял: мать не может сегодня остаться в доме одна, наедине с тяжелыми мыслями.

...Ночь пришла нестерпимо душная. Тауфик долго ворочался, не мог уснуть и наконец, так и не найдя удобной позы, пристроил подушку на подоконнике и облокотился на нее. Нет, из открытого окна тоже не обдувало свежестью. Воздух как будто завял, завяз, изможденный, среди домов и деревьев, потерял способность перемещаться.

Над селом зависла гнетущая тишина, и казалось, никто не решался ее нарушить. Еще с вечера она жутковато опустилась на село. Даже динамик на Доме культуры рано умолк, словно устав извергать на головы людей черные вести. Но вот в конце улицы чья-то заблудшая гармонь издала хриплые звуки — игравший или не был хорошим гармонистом, или был пьян. Кое-как подобрав одну мелодию и не осилив ее, начинал другую, но, оборвав и эту, принимался за третью. Ему вторил срывающийся голос,

пытавшийся затянуть песню, но ничего не получалось. Несомненно, и гармонист, и его спутник были пьяны. В напряженной ночной глухоте жалкая эта музыка казалась особенно фальшивой и неприятной, резала слух.

— Нашли время, — вздохнула в углу мать. Оказывается, она тоже не спала и прислушивалась. — Разве такое горе водкой зальешь!..

Тауфик хотел было закрыть окно, но услышал еще один голос, возмущенный и громкий, перекрывающий первые два. Видимо, кто-то не выдержал и вышел усмирить непутевых гуляк.

Вскоре все стихло. Темная улица снова погрузилась в немоту, но вряд ли кто спал сейчас — было в этом ночном покое ощущение зыбкости, ненадежности — словно в любую минуту мог докатиться сюда грохот снарядов и бомб, рвущихся пока далеко, на западных рубежах страны, еще вчера казавшейся необъятной, а теперь словно сократившейся до размеров родного дома, в который вот-вот могут незвано постучать.

Потом совсем близко прокатилось по небу глухое ворчание, за ним высветила все безжизненным светом изламывающаяся молния, и снова загрохотало. «Как на фронте, — подумал Тауфик и тут же усмехнулся над самим собой: — Ну разве можно сравнивать боевое сражение с грозой, которая несет земле исцеление!»

Налетел прохладный ветер. Гром гремел уже вовсю, над головой полыхали молнии, но все это вызывало в душе Тауфика не страх, а неуемное ожидание дождя, будто не природа, а сам он изнывал от жажды. По подоконнику ударили первые крупные капли, рождая в душе чувство удовлетворения и покоя.

Поднявшаяся буря отворяла и с шумом захлопывала чьи-то двери и калитки, срывала с крыш плохо прибитое кровельное железо, гремела ставнями. На дороге серыми призраками в свете молний метались пылевые вихри, как будто пытаясь уйти от дождя. Но ничего этого юный пахарь уже не видел: тяжелый сон наконец одолел его, и даже порывистый ветер, остужающий лицо, не мог тот сон нарушить.

Спал Тауфик крепко, и только под утро ему пригрезилось, будто шел он то среди угрюмых холодных скал, то среди бесконечной песчаной пустыни. Его замучила жажда, иссохшиеся и потрескавшиеся губы забыли вкус воды, а он все шел и шел. Но вот наконец он добрел до бурля-

щей реки. Какое это счастье! Он с жадностью хватал пригоршнями воду, но она почему-то лишь текла по лицу, не попадая в рот...

Вдруг и горы, и бурлящий поток пропали, только слышался отдаленный шум и приятные прохладные брызги освежали лицо.

Это уже отступал сон, но Тауфик, стараясь продлить блаженные минуты, продолжал обманывать себя и лежал с закрытыми глазами. Наконец, приоткрыв их, он увидел в неясном утреннем свете сплошную завесу дождя. И от этого душа наливалась неведомой ему доселе спокойной уверенностью и силой.

А дождь лил и лил. Похоже, что это надолго. Тауфик приподнялся и высунулся в окно: от земли, как от раскаленного банного камня, поднимался парной дурман.

— Не вставай, сынок, — услышал он голос матери, которая уже давно была на ногах. — Спи сегодня вволю. На поле сегодня непролазная грязь. Верно говорят, дождь — покой для души, божья милость... Вон как хорошо идет. Обложной. Пусть поглубже землю пропитает. И так над страной беда, хоть бы хлеб уродился хороший... Спи, пока погода такая, теперь тебе мало спать придется...

И тут снова пришла тревога, щемящая, гнетущая. Надо же, он так уснул после вчерашней усталости и переживаний, что даже заспал чувство страшной беды, убаюканный ночным дождем. И снова щемящая боль пронзила сердце. Война! Если бы она только приснилась!.. Бывают же страшные сны, после которых с такой радостью просыпаешься и с облегчением думаешь: это же только сон! Но тут — не сон. Жестокая, не имеющая себе равных, навязанная фашистами война! Тауфику стало не по себе, когда он вспомнил, как легкомысленно воспринял вначале это известие. Прошел всего один день, но как он повзрослел за это время! Лишь сейчас со всей серьезностью он понял, какое горе обрушилось на людей, какая беда пришла в каждый дом. Неужели можно повзрослеть за один только день? За одну ночь? И вообще, что значит — повзрослеть? Может быть, дело совсем не в возрасте? Может, для кого-то достаточно пережить большую общую беду как свою собственную? Тауфик глубоко задумался, и над его напряженно сведенными бровями наметились первые морщины. Конечно, хорошо было бы сейчас лежать и смотреть в окно под убаюкивающий шелест дождя и ни о чем не думать. Но разве можно теперь позволить себе такое!

Облокотившись о подоконник и подперев голову ладонями, он старался навести порядок в своих путаных и беспорядочных мыслях. В это время он обычно уже уходил на работу, а сегодня никуда не надо спешить, и почему-то не по себе от этого и кажется, что самым непростительным образом от чего-то отлыниваешь...

— Здравствуй, труженик! — знакомый голос вывел Гауфика из задумчивости. По улице шел дядя Музафар. Его кепка, надетая глубоко, была насквозь мокрой, с кожаной куртки стекала вода. И хотя лицо было угрюмым, по голосу чувствовалось, что он доволен погодой. Подойдя к окну, сказал: — Ладный дождь, пусть себе идет. Но и мы не будем лениться, воспользуемся случаем: разберем плуги да в кузницу лемеха свезем, наточим. К вёдру как раз и управимся. Так что собирайся! Время сейчас такое. Нельзя себе позволять расслабляться.

Тауфик мигом вскочил:

— Я быстро, дядя Музафар.

— Куда ты его в такой ливень? — вмешалась мать. — Он еще и не ел.

— Было б желание, работящему человеку всегда дело найдется, — грустно улыбнулся дядя Музафар. — Ты, браток, давай перекуси, раз еще не ел, а я пока остальных обойду.

У матери уже кипел самовар. Обжигаясь, Тауфик быстро попил чаю и, надев старый кожан отца, буквально утонул в нем — отец был рослым и крупным мужчиной. Отыскали под лавкой в чулане уже задубевшие отцовские сапоги — огромные, в них так и гуляли ноги.

Надвинув на голову башлык, Тауфик вышел на улицу. Дождь барабанил по макушке, хлюпала под ногами раскисшая дорога.

6

Болты, крепящие лемех, намертво заржавели, и чтобы отвинтить их, Тауфик уперся ногами в холодный металл и налег на ключ так, что захрустели суставы. Раз, два... Трынк... Нет, это пока не болт, это внутри у него что-то надсадно пропело. Еще одно усилие — и наконец винт подался. Со скрипом, сопротивляясь, сделал четверть оборота. Тауфик удовлетворенно улыбнулся: как приятно чувствовать силу в руках, ведь какой-нибудь месяц назад у него ничего не получилось бы. А сейчас, ощущая, что шире и

крепче сделались плечи, надежнее ноги, он радовался, словно прибавил в росте. Нет, выше, конечно, не стал, но возмужал, и теперь ему казалось, что он способен сдвинуть горы, поднять тяжести, которые были под силу разве что отцу.

Вспоминая отца, Тауфик всегда восхищался его силой, какой-то особенной мощью. Чего стоило, например, одно его чихание! Бывало, когда он чихнет, козлята на полу подпрыгивали, а кошка мигом исчезала под печью.

А в сенокосную пору!.. Стоя возле скирды с трехпалыми деревянными вилами наготове, отец весело и нетерпеливо поторапливал Тауфика, восседающего на лошади с волокушей:

— Погоняй, погоняй, батыр! Время не терпит.

Казалось, сама его душа жаждала работы, а удаль не умещалась в груди. Он ни минуты не мог простоять без дела. И если другие поддевали вилами столько сена, сколько можно унести под мышкой, отец закидывал волокушу на стог в два навильника, только весело покрикивал стоящему на стогу:

— Сторонись, не то завалю! — И испытывал счастье от чувства собственной силы.

Таким его Тауфик и запомнил: мокрая от пота рубашка, прилипшая к спине, покрыта сенной трухой. Могучая грудь вздымается высоко и дышит так шумно, как будто рядом кто-то растягивает кузнечные мехи.

Но срок ему был отпущен недолгий. Когда переехали в райцентр, отец устроился на ферму. И здесь работал истово, не щадя сил, иначе он не мог, так уж был устроен, и, спасая в весеннее половодье скот, погубил себя. Ледяная вода кипела шугой, и надо было иметь большое мужество, чтобы зайти в нее. Он вынес на спине одну телку, затем другую. Когда дошла очередь до третьей, подлез под ее брюхо, ухватив руками передние и задние ноги, понатужился и поднял... Как потом говорил, что-то оборвалось у него внутри. Он упал тут же ничком на голую сырую землю, и его стало рвать кровью. Оказалось, что в горячке, не чувствуя непомерной тяжести, отец вынес на плечах живой груз в полтора центнера...

...Умирал он тяжело, но без жалоб и стонов, как подобает сильному человеку. Было какой-то страшной нелепостью видеть его могучее тело на больничной койке.

Поминки устроили скромные — в доме собрались лишь родные и соседи. Сидя за столом, мать все время плакала,

а потом горько, вполголоса запела о том, что юноша, оставшийся без отца, живет только своей силой...

Не закончив песню, она подошла к Тауфику, сидевшему на лавке, и прижала его голову к груди.

Уже тогда он, Тауфик, остался единственным мужчиной в доме, а теперь великое горе коснулось всей страны, и поэтому он должен стать таким же сильным и волевым, как и отец, потому что сейчас надо думать не только о собственном доме. Но сила тоже бывает разной: есть сила рук, а есть сила духа. Об этом часто говорят и в школе. Хорошо, когда эти две силы гармонично соединяются в одном человеке, но как важно, чтобы в нем преобладала вторая. Конечно, значение грубой физической силы с каждым годом все падает, хотя бы потому, что хоть и медленно, но постепенно вытесняется из жизни тяжелый физический труд. Тут все ясно, с этим Тауфик разобрался. А вот как же быть, когда человек пользуется своим служебным положением, как грубой физической силой? Конечно, Советская власть в корне все изменила, но ведь еще встречаются люди, наподобие пулнаймуша Галяу, которые приспособятся к любой власти, которые привыкли брать горлом и ничего не делать руками... Кто-то ведь и таких считает сильными... Только почему?

Трудно было Тауфику со своим еще небольшим жизненным опытом разобраться во всем этом. Но чутким сердцем он понимал, что самая верная сила — все-таки сила духа. Вот сейчас идет война против немецких фашистов. И чтобы вступить в бой с врагом, физическая сила, конечно, потребуется, но в первую очередь нужна сила воли, мужество. Эти качества в человеке заметишь не сразу, но зато именно они движут всеми поступками.

Тауфик невольно вернулся мыслями к отцу. Многие завидовали его физической силе, но чтобы метнуть на стог одним навильником целую копну сена или отважиться взвалить на себя телку весом в полтора центнера, надо прежде думать не о себе, а о деле, о долге, то есть, в конце концов, быть сильным духом. И терпеть боль, стиснув зубы, щадя своих близких... Значит, отец был не просто сильным, а мужественным, волевым человеком. Тауфик старается походить на него. Кое-чего он уже добился. Подниматься на заре каждое утро и идти в поле — на это ведь тоже нужна сила воли. И работать целый день без устали... Мужчинам, которые уходят теперь на фронт, есть на кого оставить свое дело — Тауфик и его друзья будут тру-

диться не жалея рук. Пусть даже если руки эти не обрели еще своей полной крепости, они — надежные.

Именно это хотелось сказать подростку, когда он увидел у военкомата первые группы мобилизованных, в основном молодых мужчин из окрестных деревень. Один из них играл на гармони и пел частушку, сочиненную то ли вчера, а может, даже сегодня. Слова в ней были и башкирские, и русские, но всем понятные:

...Расстаемся, Гульюзем,
Не вини военкомат —
Это Гитлер виноват...

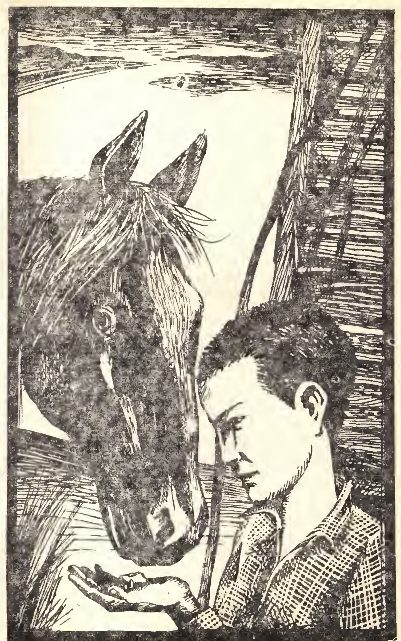
Приостановившись было на минуту, молодой пахарь, облаченный в покоробившуюся и явно великую для него кожанку отца, неуклюже двинулся дальше, в сторону поля, оскальзываясь в огромных и тяжелых сапогах.

Удивительно, еще издали он увидел Тауиса и Пегую у кромки пашни. Видимо, не дождавшись хозяина в луговине, откуда он забирал их с ночного, они сами пришли сюда.

Старая кобыла даже сквозь дождевую завесу сразу узнала хозяина и, как всегда, подала голос, выражая свою радость. А Тауис, с хрустом, жующий сочную траву, только поднял голову и, потянувшись мордой к Тауфику, покорно ждал, когда тот наденет на него узду.

Нет, сегодня ваш хозяин не станет запрягать вас, добрые вы помощники, главная тягловая сила времени! Тауфик погладил лошадей по шее и долго распутывал их сбившиеся и отяжелевшие под дождем гривы. Тауис и Пегая, довольные, тихонько пофыркивали.

«Неужели и у лошадей есть сила воли? — подумал подросток, удивляясь их готовности работать. — Неужели и они понимают, что началась страшная война? Может быть, по хмурым лицам людей, по тому, что некоторые из них, самые молодые и сильные, куда-то исчезли, по тому, как тревожно прислушиваются люди к голосу громкоговорителя у Дома культуры, кони догадываются, что случилась какая-то большая беда? До чего же все-таки они чуткие и умные животные, только разговаривать не умеют. Неужели на самом деле они все понимают? Иначе откуда в них, как и в людях, появляются силы, когда их, кажется, совсем уже нет — вот-вот, и вроде уже упадут, но нет, дотянут плуг до конца борозды, а там, немного передохнув, с тем же великим терпением начнут новую. Только вот Тауису по-прежнему силы воли иногда не хватает — то до конца круга, то до конца дня. Но ведь он, по сути дела, тоже еще



Ф. Исангулов

подросток», — с грустью подумал Тауфик и ласково похлопал коня по мокрому блестящему крупу.

...В кузнице было шумно — народу набралось много. Звуки, отскакивающие от переменно и гулко бьющих молотов, будто соревнующихся в мощи и точности удара, сегодня казались особенно громкими. Пахари, кто помоложе, раздували кузнечными мехами горн, а кто посильнее да половчее, клали раскаленные добела лемеха на наковальню и ковали в паре с кузнецом.

Тинь-тук, тинь-тук...

Жарко пылает горн, весело звенит металл. Только лица людей, как сегодняшняя погода, хмуры. От невеселых мыслей пролегли по ним глубокие складки. В короткий отдых, присев на корточки, мужчины затягиваются махоркой и изредка перекидываются отдельными фразами:

— Минск бомбят... Киев...

— Про наших только и слышно: перешли на новую позицию...

— ...Я только сегодня понял, что это значит... Это отступление...

— Да что же это такое! Ведь товарищ Сталин говорил, не дадим врагу ногой ступить на нашу землю!.. А фашист обрушился всей силой, да с каким вооружением!.. У нас-то там что, одни пограничники, раз все отступаем?

— Погоди, вот подоспеет туда вся наша армия...

— В Москве, говорят, собирают и ополчение. Фашист живо, хвост поджав, удерет...

Одни согласно поддакивают, другие лишь молча сворачивают «козьи ножки» — дым в кузнице, хоть топор вешай. Молчит и кузнец, могучий, с саженными плечами, пышными бровями и подпаленными усами. Кажущийся рядом с ним мальчишкой худощавый и жилистый дядя Музафар тоже серьезен и сосредоточен. Себе он не позволяет никаких перекуров, но не мешает передохнуть другим, не вмешивается в разговоры и все стучит и стучит то малым, то большим молотом, подменяя иногда уставшего кузнеца, шевеля при этом губами. Со стороны кажется, что он беззвучно разговаривает сам с собой.

Вот и готов лемех Тауфика.

— Держи-ка, Арслан-батыр [1], — говорит кузнец, выни-

[1] Лев-богатырь.

мая из воды длинными щипцами шипящий металл. — На добрые дела!

Тауфик вертел лемех в руках и не мог его узнать — он показался ему каким-то безжизненным и чужим. Некрасивый, сизый кусок железа. С самой весны лемех каждый день был перед глазами и стал для него уже чем-то одушевленным. Иной раз, когда земля поддавалась особенно туго, молодой пахарь даже обращался к нему вслух.

— Погоди, скоро ты снова засияешь, — вытирая рукавом слезящиеся от дыма глаза, утешал его Тауфик и, закрепив лемех в тиски, стал затачивать большим напильником.

Скоро вспотела спина, все больше прилипала к ней рубашка, и снова вспомнился отец. Интересно, что сказал бы он, увидев, как Тауфик орудует инструментом? Наверное бы, обрадовался: «Молодец, сынок, не подвел. Вон как окрепли твои руки». Кажущееся присутствие отца вселяло новые силы, заставляло работать еще азартнее. Он точил лемех, и его резец, пусть пока лишь с краю, заблестел — будто прозрев.

После обеда погода стала налаживаться. Тучи, нависшие сплошной темной пеленой, поднялись над горизонтом, и в просветах показалось промытое изумрудно-голубое небо.

Собравшиеся в кузнице разом заторопились, начали расходиться. Быстрее в поле — дорог каждый час летнего дня. К тому же летом, сколько бы дождь ни шел, земля быстро обветривается и подсыхает.

Забежав домой, Тауфик снял отяжелевшие от налипшей грязи сапоги, наскоро съел катыка с толстым ломтем хлеба, снял с гвоздя уздечки и, перекинув их через плечо, вышел за ворота. Стало уже совсем тепло, от напившейся вволю земли поднимался пар. Тауфик закатал стоящие колом штанины и, шлепая по лужам, припустил по улице.

Он уже почти добежал до озера, когда впереди заметил знакомую фигуру — навстречу ему шла Разифа. Со стороны могло показаться, что она разглядывает свои блестящие резиновые сапоги — девочка все время смотрела под ноги, не поднимая головы. Они поравнялись, и Тауфик успел заметить, что глаза у нее красные и опухшие, и вся она какая-то поникшая.

— Ты просто образец трудолюбия, — силясь изобразить улыбку, сказала Разифа. — Молодец!.. А у меня папа завтра уезжает... — и голос ее задрожал, и на глаза навернулись слезы.

Она уже пошла было дальше, но потом остановилась:

— Да, мама просила вам передать, чтобы вечером Рауза-апай и ты обязательно зашли к нам. Так что возвращайся сегодня пораньше...

Уже пройдя озеро, Тауфик спохватился, что не сказал Разифе ни слова. «Ну и друг называется, — ругал он себя, чувствуя вину перед ней, — даже не попытался подбодрить ее. Молчал как немой...»

За околицей Тауфик невольно замедлил шаг — у моста на обочине дороги толпились люди. Среди них были и пахари, вперед него отковавшие свои лемеха. Тауфик не сразу понял, в чем дело, только подойдя поближе, увидел, что по дороге в сторону железнодорожной станции двигался большой обоз. Впереди строем шла колонна мужчин, молчаливых, растерянных, с напряженными, застывшими лицами. По бокам и позади бежали плачущие женщины и дети, покряхтывая, старались не отстать старики. Замыкало шествие множество телег, повозок и тарантасов, груженных разноцветными узлами, фанерными чемоданами, вещевыми мешками. По размытой дождем дороге лошади тянули их медленно и натужно.

Тауфик смотрел на пеструю, неровно шагающую колонну и недоумевал: «У них даже нет военной выправки?! Почему идут так медленно? Ведь если они будут тащиться таким черепашьим шагом, фашисты прорвутся в глубь страны!» Подросток забыл, что перед ним не солдаты, а всего лишь мобилизованные крестьяне, еще вчера, как и он, пахавшие землю. Его воображение рисовало совсем другую картину: лихие всадники на храпящих конях на полном скаку выхватывают из ножен шашки. «За мной!» — командует храбрый командир (а командир это — конечно же он сам), — и бойцы с криком «ура!» бросаются в смертельную схватку.

А здесь все безоружны. И даже не в военной форме. Им трудно устоять не то что против вооруженного до зубов врага, — против сильного ветра.

Вконец расстроенный, юный пахарь повернул к полю. Разве мог он догадываться, какие испытания выпадут на долю этих людей, какую закалку пройдут они в горниле войны, привыкшие за свой век только к одному орудию — плугу. Не знал Тауфик, что суровая година заставит стать их крепче того лемеха, что нес он сейчас в поле. И сделает их такими не только военная подготовка, а прежде всего сознание, что воюют за правое дело. Что касается себя,

подросток знал твердо: фронту нужна помощь, и поэтому надо скорее браться за работу.

Чтобы установить лемех, Тауфик перевернул плуг и замер: на мгновение он показался ему станковым пулеметом, который не раз видел в кино. Где-то в глубине сразу шевельнулось мальчишеское желание залечь за «пулемет» и выпустить очередь в воображаемого противника — «та-та-та», но он подавил его. Нет, время играть в детские игры прошло. И вообще сейчас не до игр.

Острый лемех вошел в пропитанный долгим щедрым дождем чернозем как нож в масло, и лошади потянули плуг дружно и споро. Над полем снова звучала вечная музыка колес, поднимался пар, обволакивая все своим благодатным теплом. Весело щебеча, резвились птицы. Блаженством дышала вся природа, и трудно было поверить, что где-то идет война.

Ветер скоро разогнал последние облака, и солнце, оставшееся в небе единственным владыкой, медленно отходило к западу.

Тауфик не заметил, как день покатился к вечеру. Вот и дядя Музафар уже дал знать, что пора остановиться. Жестом он подозвал пахарей к себе. По лицу его было видно, что он собирался сказать что-то важное. Серьезный и в то же время растерянный, он счищал железкой прилипшую к сапогам землю, видимо не зная, с чего начать.

— Ну, братцы, прощаться будем... Мне повестка пришла... Живите дружно, работайте на совесть... А мы там уж постараемся...

Все молчали и почему-то тоже глядели на его сапоги. «До чего крепкий человек, — думал Тауфик с изумлением. — Повестку получил, наверно, еще утром, а может, даже вчера, а все же не бросил работу. То, что наметил, довел до конца: наточил лемеха, собрал плуги, помог молодым вновь поставить их в борозду. И до последнего момента никому не сказал ни слова!»

— Что же вы стоите? Наш маленький митинг окончен, — стараясь подбодрить всех, улыбнулся дядя Музафар. — Я не секретарь райкома, долго говорить не умею. Сейчас стреножим коней, отпустим их пастись — и по домам. Ведь вам завтра на заре подниматься...

Вечером Рауза-апай и Тауфик направились в дом напротив. По обычаям деревни, старшего сына, оставшегося

в доме за мужчину, пригласили на проводы вместе с матерью.

Заходя в этот дом, Тауфик всегда испытывал неловкость, хотя хозяева были с ним неизменно приветливы и доброжелательны. На сей раз навстречу им вышли все трое. От отца Разифы, раскрасневшегося, с прилипшими ко лбу волосами и большим полотенцем на плечах, исходил запах молодого березового веника. Заметив смущение Тауфика, он крепко взял его за руку и повел в комнату.

За столом, точно самовар, курился паром такой же разомлевший дядя Музафар. Подросток удивился было, но когда хозяин дома назвал его свояком, вспомнил, что они действительно какие-то родственники. Но вот до сегодняшнего дня он не замечал, чтобы они роднились и ходили друг к другу в гости.

Мужчины пили чай из душицы, и аромат ее заполнил весь дом. Березовый веник и чай из душицы! Как же не вязалась с этими символами домашнего покоя и уюта та причина, по которой собрались все тут.

Впрочем, в этом доме ничто не выдавало проводов на войну. И если бы Тауфик не знал заранее, то, может, и не догадался бы, зачем их пригласили в гости. Хозяин был так спокоен, будто завтра ему ехать всего лишь в какой-нибудь отдаленный колхоз района. А у дяди Музафара, всегда ровного и молчаливого, умеющего прятать чувства глубоко в себе, по лицу тем более ничего не поймешь. И Разифа с матерью стараются не показать, что все у них внутри сжимается от боли, даже пытаются улыбаться.

Женщины поставили на стол корот[1], капусту и наваристый суп из вяленого гуся...

— Вот что, браток, — отец Разифы поднялся и, положив руки на плечи Тауфику, сказал задумчиво и строго: — Мы уходим на фронт. Теперь вся работа в колхозе ляжет на вас, подростков. Это ты знаешь. А в наших трех домах, да, может, не только в наших, ты остаешься единственным мужчиной. Так что уж будь опорой женщинам, не подведи.

— Да-да, конечно, — смахнув слезы, поддакнула мать, безмерно довольная тем, что сына признают взрослым.

Ее тут же поддержал дядя Музафар:

— Тауфик толковый и трудолюбивый парень. Конечно, не подведет.

Разифа засияла, услышав столько хорошего о своем друге. Один Тауфик не знал, что ответить. Потупившись,

[1] Острый сушеный творог.

он делал вид, что играет с кошкой, сидевшей под столом в надежде, что и ей перепадет какой-нибудь кусочек. Из столь затруднительного положения его вызволила Разифа, попросив помочь. Оставив старших, они потихоньку выскользнули на улицу и направились к озеру.

— Мы тоже не подведем, правда? — видимо еще находясь под впечатлением слов отца, сказала Разифа и горячей мягкой ладошкой взяла Тауфика под руку. Он молча кивнул.

Разифа шла, не убирая руку и не испытывая никакой неловкости, как будто всю жизнь только так с Тауфиком и ходила. А у Тауфика от смущения подламывались колени и взмокла спина. Ее рука, казалось, жгла. Он многое бы дал сейчас, чтобы Разифа убрала руку и можно было бы идти спокойно и непринужденно.

Но «помощь» неожиданно пришла со стороны. От старой поникшей ветлы отделилась длинная тень и встала поперек дороги. По сутуловатой долговязой фигуре они сразу узнали Кадра Кали.

— Вам придется разлучиться на некоторое время, — без предисловий сказал он Тауфику угрожающим тоном и повернулся к Разифе: — Мне нужно сказать пару ласковых слов этому кавалеру...

Разифа, чувствуя недоброе, сразу возразила:

— Я не отпущу Тауфика. Говори здесь.

— Нет, у нас будет сугубо мужской разговор! — и он противно кривляясь, изобразил поклон. — Извольте набраться терпения, сеньорита...

Тауфик понял, что Кали хочет взять его на испуг. Не принять вызов, воспользовавшись покровительством девчонки, было бы величайшим позором, и он, внутренне съежась, но не подавая виду, как можно спокойнее сказал:

— Ты подожди здесь, Разифа, я сейчас...

...Шли узкой тропинкой, по обе стороны которой стеной стояла крапива. Сердце у Тауфика бешено колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Ему казалось, что даже Кали слышит его стук.

Остановились на пустыре, за огородами. Из темноты из-под деревьев навстречу неожиданно вышли трое приятелей Калимуллы. Сам Кали, как будто уступая им дорогу, сразу отошел в сторону.

Вблизи Тауфик сразу узнал троицу — это были здоровые детины, вечно околачивающиеся у Дома культуры и считавшие себя хозяевами райцентра.

Один из них махнул перед самым носом Тауфика огоньком папироски, выдохнул дым ему в лицо и удивленно протянул:

— Хи, Кадр, кого ты к нам привел! Какого-то сопляка! Да неужели мы станем пачкать об него руки! — и с силой толкнул кулаком в плечо Тауфику.

Ожидая удар, Тауфик так напряг мышцы, что принял его как сжатая пружина. И, наоборот, ударивший отшатнулся назад.

— Ха-ха, а он ничего, крепкий, — удивился тот.

Второй, будто не доверяя первому, толкнул в другое плечо и тоже с удивлением протянул:

— Ого, да с ним можно играть!..

И трое бездельников наигранно захохотали.

Стараясь казаться спокойным, Тауфик прервал их хохот:

— Зачем звали, говорите... Я слушаю.

Это еще больше распалило жаждущих приключений молодчиков.

— Посмотрите на этого щенка, — гоготали они. — Как вам нравится: «Я слушаю...» Нет уж, это ты нас будешь слушать, салага. Затем тебя и звали.

— Хорошо, говорите, что вам нужно, а то меня ждут, — спокойно сказал Тауфик, почувствовав вдруг, что у него точно прибавилось сил и что ему совсем не страшно.

— Слушай, ты... — не вытерпел, вмешался Кадр Кали. — Если тебе дорога жизнь, то сегодня же, нет, с этой же минуты не то что ходить под руку с девушками нашего круга, — имена их забудь. Забудь, что они вообще есть на свете...

— Это ты что, про Разифу говоришь? — усмехнулся Тауфик.

— В точку попал. Догадливый, оказывается. В последний раз произносишь это имя... — и перед лицом подростка появился кулак. — Дай сейчас же слово!

Тауфик с неприязнью смотрел в их самодовольные физиономии.

— Эх вы, несчастные душонки! — Голос его от напряжения стал глухим. — Идет война, льется кровь, а вы тут от безделья маетесь, — и, повернувшись, пошел прочь. Он старался идти как можно медленнее и спокойнее, давая понять, что он не боится их, что он готов принять удар даже незащищенной спиной. Но, к его удивлению, его не преследовали, только отборная ругань послышалась сзади.

Видимо, хулиганы были ошарашены такой дерзостью.

Разифа, потеряв терпение, уже шла ему навстречу.

— Ничего не случилось? — спросила она, волнуясь.

— Был дружеский разговор. Интересовались моим здоровьем, — усмехнулся Тауфик.

— Что тебе сказали эти бездельники? Они тебе ничего не сделали?

— Остались довольны моим здоровьем. Велели всегда тебя охранять. — И он смело взял ее под руку.

7

На следующее утро Кадр Кали, к всеобщему удивлению, появился на поле. Он вел лошадей дяди Музафара. Тауфик и Фарваз лишь переглянулись: с чего это вдруг его принесло? Лодырь и разгильдяй, вечно болтающийся по улицам, разве он сможет пахать?! Ведь у него нет даже малейшего представления о том, как запрягать лошадей. Ну, черт с ним, пусть помучается, только в пользу будет. Только вот жаль лошадей, привыкших к заботливым рукам дяди Музафара. Вряд ли им понравится новый хозяин, тем более такой.

Кадр Кали, видимо, понял почему все пахари, в основном, такие же, как и он, подростки, сразу запереглядывались.

— Идет Великая Отечественная война, — высокопарно начал он. — Товарищ Сталин призвал сплотить все силы, чтобы победить фашистов. И мы, будущие кадры, пока не подошло время командовать на фронте, должны проявить себя в тылу, не гнушаясь никакой черной работы... Музафар, как я понимаю, — он взглянул на Тауфика и Фарваза, — был над вами старшим?.. Покажите мне его плуг.

Фарваз нехотя кивнул в сторону сиротливо-бесхозного «челябинского». Но Кали не заторопился к нему. Повернувшись к Тауфику, он произнес как ни в чем не бывало:

— Товарищ Муратов, то есть сосед по улице, ты мне покажешь, где я должен работать?

«Ишь чего рассыпается, — подумал Тауфик, — будто вчера ничего и не было... Неужели другим человеком проснулся? Ну что же, ради дела придется забыть свои обиды и не вспоминать о стычке»,

Он оставил в борозде только что запряженных лошадей и, не сказав ни слова, направился к плугу дяди Музафара. Кали, потянув под уздцы настороженных, сторонящихся его лошадей, пошел следом.

— Ты уж, дружище, на первый раз помоги мне их запрячь, — попросил Кали, когда они остались одни. — Мне не повредит, и у тебя не убудет, — и, осклабившись, подмигнул Тауфику. — Говорят, в деревне молодуху и то первый раз ведут за водой. Ха-ха-ха!

За шуточками Калимулла пытался спрятать от остальных свое неумение запрягать, хотя все давно поняли это. Но злорадствовать над ним никто не стал: что же тут такого, каждое дело человек когда-то делает впервые и нередко нуждается в чьей-то помощи. Ведь и Тауфику тоже в свое время что-то показывали, объясняли. И если Кали понял, что надо помогать фронту, и по своей воле пришел работать, разве можно его не выручить! Хотя, конечно, деревенскому парню в его возрасте учиться запрягать — то же самое, что учиться ходить...

Тауфик подавил в себе неприязнь к этому самодовольному выскочке, хотя не раз терпел его издевки и насмешки. Сейчас он искренне желал, чтобы у Кали все получалось.

Но их молчаливое согласие было недолгим. Пока Тауфик осматривал плуг, проверяя хомуты и постромки, Кали проявил самостоятельность: грубо раздирая лошади челюсти, пытался затолкать ей в рот удила.

— Дядя Музафар никогда не взнуздывал своих лошадей, — сдержанно предупредил Тауфик. — Они не привыкли к удилам...

С Калимуллы мигом слетела маска миролюбца. Со свойственным ему высокомерием он посмотрел на Тауфика:

— Я — не Музафар. Мое имя Калимулла. Значит, другой человек, и лошади будут подчиняться мне, запомнил? — Язвительно скривив губы, он свистнул. Потом тоном, не терпящим возражений, заявил: — Музафар — слишком мягкий человек, он избаловал вас, как и своих лошадей... Теперь все будет по-другому. По законам военного времени...

Было нетрудно понять, куда гнет Кадр Кали. Раз он сменил человека, который считался старшим, значит, и полномочия предшественника переходят к нему. Подчиняться кому-то Калимулла не согласится, так же как и быть рядовым пахарем.

Но для чего нужен отдельный начальник над пахарями? Достаточно того, что в колхозе есть председатель, в бригаде — бригадир и учетчик. И дядю Музафара никто официально старшим не назначал. Его одинаково почита-

ли и любили и молодые, и старые, у всех он пользовался большим авторитетом. И в поле с негласными обязанностями старшего справлялся он незаметно, без суетливости и нажима. Он спокойно и молчаливо прошагал за плугом, наверное, не одну сотню километров и, когда потребовалось, так же спокойно и молчаливо уехал на фронт. Но именно его отсутствие сразу стало заметным в селе.

Группа пахарей, в которую вместо мобилизованных на фронт мужчин влились подростки, сразу словно осиротела. Изменилась не только составом, но и внутренним климатом, лишившись, быть может, главного — своего стержня. Кто должен стать авторитетом для не окрепших еще и силой, и духом мальчишек, Тауфик не знал. Ясно одно, любой коллектив, зрелый или молодой, выскочку старшим не признает, у коллектива свои законы. Но Кадру Кали этого не понять — самоуверенность и заносчивость родились, кажется, раньше его.

Лошади дяди Музафара уже и забыли, когда брали в рот «невкусную железку», поэтому возня Кали с удилами оказалась напрасной. Привыкшие к бережному отношению и доброму слову, они упрямо противились новому хозяину.

Откуда было знать Калимулле, что расположение лошади надо заслужить, что доброту, как, впрочем, и озлобленность, это умное животное чует остро. И уж совсем не переносит хозяина, который по любому поводу прибегает к силе, причиняя боль.

— На-ка, Муратов, попробуй ты... — вконец намучившись, не выдержал Кадр Кали. Лошади тоже успели показать ему свой характер. — Тебя-то они послушаются... — Тон его был просительным и приказным одновременно.

Тауфик пошел на хитрость. Повозившись немного с удилами, он решительно сказал:

— Нет, ничего не выйдет. Они так не привыкли. Им нужно только одно — доброе слово. Удила и кнут тут бессильны.

Калимулла опять скривил губы в усмешке:

— Каким ты умным стал, однако, кысынтинский кавалер, пока вращался в обществе этих высокоразвитых существ... Ха-ха-ха!

На такое ничем не прикрытое издевательство Тауфик мог бы ответить крепкими кулаками. Но ведь он, пахарь, дал себе слово не просто стать сильным, но и вырабатывать силу воли, выдержку, чтобы во всем походить на отца. И поэтому сдержался, смолчал. Начав борозду, направил лоша-

дей и, не глядя на Калимуллу, передал ему вожжи:

— Лошади послушные, плуг — в полной исправности. Дай им свободно идти, больше от тебя ничего не требуется.

Кали, брезгливо морщась, взял из его рук залоснившиеся от долгой службы вожжи.

— Яйцо курицу учит, — пробурчал он с досадой и смачно сплюнул.

Тауфик сразу вспомнил, как мать иногда говорила: некоторым людям сделай добро, а они злом ответят. Он не верил, что так бывает, а тут вдруг подумал: может, права мать? Молча повернулся и пошел к Тауису и Пегой, которые уже заждались его.

...День выдался погожий. Лошади легко тянули плуги с не успевшими еще затупиться лемехами, и Кадр Кали — это замечали все — был доволен. Почувствовав, что у него получается, он вошел во вкус и пахал без остановки, почти не испортив ни одной борозды.

Душа Тауфика снова оттаяла. «Может, еще исправится этот дубина, — видя старания Кали, подумал он. — Работа из кого угодно дурь выбьет...»

Ужинали во дворе, на гусиной травке. Когда Тауфик, обжигаясь, перекидывал с ладони на ладонь дымящуюся картошину, мать как бы между прочим сказала:

— Слышала, и сын пулнаймуша Галяу вышел в поле... Что значит отец при должности — быстро сообразил, что к чему...

Оказывается, родители Калимуллы, прослышали, что, по закону военного времени, многих подростков, а больше тех, кто не особенно преуспел в учебе и не спешил поступать на работу, направляли в ФЗО. Испугавшись поначалу за единственного сыночка, они, однако, быстро нашлись и отослали его на пахоту.

— ...Не хотят отпускать от себя, — продолжала мать. — Ладно еще, если в поле от этого Калимуллы будет толк. Испортили они его, с малых лет избаловали. Что ни потребует — пожалуйста! Вот и вырастили бездельника.

Кадр Кали, конечно, не мог не заметить, что остальные пахари поглядывают на него выжидающе: надолго ли хватит ему запала. Три дня он работал почти наравне со всеми и похудел так, что это сразу бросалось в глаза, — долговязому, оказывается, не очень идет худеть. На четвертый день привел лошадей с выгона на час позже. Осунувшееся

от усталости и жары лицо его было хмурым. Видимо, теперь Кали понял, что пахать в удовольствие, играючи можно лишь недолго, а потом накапливается усталость и, чтобы перебороть ее, нужно большое терпение. Энтузиазм, с которым он появился на поле, явно иссяк, и, должно быть, поэтому он уже не особенно рвался командовать.

Опоздания Кали стали привычными — с него никто не спрашивал за это, и он не испытывал беспокойства. Скорее наоборот стараясь подчеркнуть свою независимость, однажды, чтобы слышали все, сказал громко:

— Руководящие кадры ведь ходят на работу к девяти часам. Привык по их режиму. Никак не отвыкну... — и захохотал, довольный своей двусмысленной шуткой.

Смех его никто не поддержал. Всем было ясно, что это заявка на вольную жизнь. Впрочем, особого рвения от Кадра Кали никто и не ждал.

Как-то утром, когда Тауфик торопливо умывался, обычно не слишком щедрая на похвалы, мать сказала:

— Молодец ты у меня, сынок, трудолюбивый. Вон, говорят, пулнаймуш-то своего за ноги стаскивает с постели. Тот упирается, не пойду, мол, и так дошел на этой пашне... Мать со слезами его просит: ведь в ФЗО отправят, будет еще хуже... А вчера Галяу только кулаками и выпроводил сынка.

Тауфик слушал молча. Какое ему дело, как родители Калимуллы отправляют его на работу. Главное, что он хоть и с опозданием, но каждый день является на пахоту. Может, со временем труд у него войдет в привычку. Хуже другое. Кали свою злобу и досаду — из-за того, что не выспался, что получил тумака от отца, что не может, как прежде, поболтаться со своими приятелями у Дома культуры — вымещает на лошадях. Они-то безропотны, сдачи ему не дадут. Если одна невзначай обмахнет хвостом, отгоняя оводов, или другая взбрыкнет из-за трущей постромки, Кадр Кали немедленно хлещет кнутом и грязно ругается. Взрослые пахари, из немногих еще оставшихся в селе, пробовали поговорить с ним по-хорошему. Да что толку! Видно, Кали не воспринимает доброе слово.

Доро́гой Тауфик немного успокоился, но едва опоздавший, как всегда, Кадр Кали начал борозду, слух Тауфика резанул свист кнута. Казалось, даже поле, созданное, чтобы слушать песню жаворонков и качать на себе хлеба и цветущие травы, сморщилось от ругани. Но больше всего Тауфику было не по себе от того, что Калимулла, глумясь

над лошадьми дяди Музафара, как бы глумился и над именем их прежнего хозяина. Еще немного — и он не выдержит, бросится на Кали.

Терпение Фарваза лопнуло раньше. Когда Кадр Кали в очередной раз принялся стегать лошадей, тот метнулся к нему и повис на руке.

— Ах ты, неудавшийся овсяной сноп!.. — зашипел Кали. — Ты знаешь, на кого кидаешься?!

Он слегка сбросил с себя Фарваза, так что тот отлетел в сторону, но, вскочив, тут же повис на Калимулле.

Оказавшиеся поблизости пахари, остановив лошадей, уже спешили к месту начавшейся потасовки.

— Лучше не подходите, а то из него кровь брызнет, — зло процедил сквозь зубы Кали. Он был таким разъяренным, что глаза у него бешено сверкали, и снова ударил Фарваза в живот.

Фарваз опять покатился по вспаханной земле. И еще... Но никто не бросился ему на выручку — все точно остолбенели, лишившись способности действовать. И Тауфик, сам не зная, почему, тоже стоял как вкопанный. В нем как бы боролись два человека: один рвался на помощь Фарвазу, другой хладнокровно убеждал, что он не должен делать этого первым. Было ли это одной растерянностью? Или, может, он струсил? Но не струсил же он тогда вечером перед четверыми! Значит, тут что-то другое.

Кали, пользуясь всеобщим замешательством, вконец распоясался и бил Фарваза жестоко, упиваясь своим превосходством.

«Да что же это такое! — наконец пришел в себя Тауфик. — Сколько же мы будем смотреть, как этот тип беснуется!.. Почему его никто не остановит?» Какая-то внутренняя пружина толкнула его вперед, но было уже поздно. Скрючившись от боли, Фарваз отступал. А Калимулла, вытащив из кармана грязный платок, театральным жестом вытер лоб. Кидаться на него теперь было нелепо — момент был упущен. Броситься сейчас — значило бы уподобиться Кали.

Тауфик не знал, что чувствовали остальные, но у него на душе было гадко. «Вот тебе и сила духа, — думал он. — Смалодушничал, не выручил товарища...» Мимо него, зажав горстью земли нос, из которого текла кровь, прошел Фарваз. Еще во время драки Тауфик поймал на себе взгляд друга — незнакомый, чужой. В нем была не мольба о помощи, а презрение. И сразу как будто холодом повеяло.

«Неужели я настолько труслив? Неужели все остальные до такой степени трусливы, что не попытались остановить распоясавшегося хулигана? Тем более что Фарваз — не из самых крепких... Что же остановило всех нас? Почему мы порой так теряемся перед наглой самоуверенностью?..»

Он не знал, что делать дальше. Его мысли прервал голос Кали:

— Чего стоите как истуканы? Здесь вам не сабантуй! Пришли работать, так работайте! Мы ведь на трудовом фронте! — В какой-то момент Кали почувствовал себя хозяином положения и воспользовался этим.

Все послушно разбрелись по своим делянкам.

Пахалось по-прежнему легко — так же мягко входил в землю лемех, лошади шли охотно, но все это уже не доставляло прежнего удовольствия. Тауфика терзало чувство вины и стыда, и он не знал, как быть дальше.

Дня три прошли тягостно, серо. Пахари почти не разговаривали и старались не смотреть друг другу в глаза. Но время постепенно сглаживало остроту случившегося, и однажды Калимулла выдвинул идею:

— А для чего всем нам ходить вслед за плугом? Надо только прямо проложить первую борозду, лошади тянут ровно...

— Правда что, — обрадовавшись, подхватил кто-то из мальчишек. — Один пахарь вполне может ходить за двумя плугами.

— Даже за тремя... — разошелся третий.

— А остальные в это время смогут немного отдохнуть. — Заманчивое предложение Калимуллы обретало все новых сторонников. И в том не было ничего удивительного: подростки уже порядком вымотались на пахоте — дело это было взрослое, мужское.

Все выжидающе посмотрели на Тауфика — что скаже он. Авторитет его среди пахарей рос день ото дня. В отличие от Кали, державшегося исключительно на позерстве и высокопарных словечках, Тауфик утверждал себя делом. С тех пор как ушел на фронт дядя Музафар, к нему часто обращались с просьбами:

— Мой плуг почему-то заносит влево, посмотри...

Тауфик охотно отзывался, подкручивая болты и, проверяя свою работу, проходил с отрегулированным плугом немалую часть борозды соседа. В это время с его лошадьми тоже успевали сделать почти круг.

По утрам он, как и дядя Музафар, обязательно осматривал упряжь. К его советам, ненавязчивым, сказанным мимоходом, подростки прислушивались: как-никак Муратов дольше всех на пахоте, сразу замечает, где постромки будут тереть и причинят лошадям боль.

...Вот почему все ждали, что скажет Тауфик.

Конечно, идея Кадра Кали не была новой. И раньше, случалось, по необходимости один пахарь ходил за двумя плугами, — если лошади не упрямятся, тянут хорошо, дело это вполне посильное.

«Может, и получиться, пусть попробуют», — подумал Тауфик и сказал:

— Я не председатель и не бригадир, чтобы запретить вам. Попробуйте! Главное, умело закрепить плуг, чтобы он не выскакивал из борозды.

Пахари, из тех, что помоложе, с радостью согласились вести по два плуга. Тауфик, настроив плуги, вел первую борозду. Кадр Кали и еще несколько подростков с удовольствием растянулись на меже.

Лошади, привыкшие с весны до глубокой осени выполнять одну и ту же работу, не нуждаясь в подсказке, ровно тянут плуги. Кажется, что им даже легче идти, когда сзади никто не понукает, не посвистывает в воздухе хлыст, готовый в самый напряженный момент пройтись по крупу.

До конца поля добрались без приключений и, помогая друг другу очистить лемеха, повернули обратно. В сторону деревни, известно, лошади идут более ходко, и нет особой нужды покрикивать на них.

Вот и место, где остались отдыхать товарищи.

— Как быстро вернулись...

— Не успели даже вздремнуть.

Замена не заставила себя ждать — все быстро поднялись, лишь один Калимулла спал без задних ног. Будить его не стали, решив дать перерыв лошадям дяди Музафара, а получилось, что устроили дополнительный отдых будущему «кадру».

Через день на поле после обеда появились дружки Калимуллы, те самые, которые по его наущению хотели постращать Тауфика. Посовстовавшись между собой, они уселись плотным кольцом и занялись каким-то странным делом. Когда пахари вернулись с очередного круга, чтобы смениться, «гости» уже «печатали» самодельные игральные

карты: на листочки, вырезанные из школьной тетради, с помощью картофельных трафаретов шлепали чернильных «королей» и «тузов». Кали, недовольный тем, что его оторвали от этого занятия, ругаясь и сплевывая, поплелся делать свой круг.

Вернулся он быстро — будто не пахал, а бежал по борозде, и тут же растянулся на выгоревшей траве рядом с приятелями. Картежные страсти уже кипели вовсю, и Тауфику стало ясно, что теперь заставить Кали ходить за плугом будет непросто.

Назавтра и на следующий день продолжалось то же самое. «Гости» появлялись уже не после обеда, а перед ним, видимо, выспавшись после ночных похождений, Калимулла, уже давно поглядывающий в сторону села, в предвкушении удовольствия расплывался в улыбке.

Устроившись на траве, картежники дымили какими-то вонючими папиросами, но хуже всего было то, что в их игру втягивались и некоторые подростки из пахарей. Внутри у Тауфика все кипело от возмущения. К тому же в полуденной зной лошадей особенно донимали оводы, и одному идти сразу за тремя плугами было трудно. Это сразу сказалось и на качестве пахоты: то там, то здесь видны были невспаханные проплешины, а о равномерной глубине вспашки и говорить было нечего.

На краю поля, помогая направлять плуги пахавшим по соседству товарищам, Тауфик спокойно, но твердо сказал:

— Все, хватит халтурить, работать будем по-старому.

Пока делали круг, картежники, видимо, вошли в азарт: Кали даже не повернул головы, хотя была его очередь идти за плугом. Терпение Тауфика лопнуло, и, не выдержав, он схватил лежащего на траве Калимуллу за ворот:

— А ну, вставай!

Тот, не отрывая глаз от карт, лишь отмахнулся:

— Отстань, жук навозный... Тут самый ответственный момент... Пусть кто-нибудь другой идет...

— Хватит бездельничать! — взорвался Тауфик, вырвал из рук Калимуллы карты и изорвал их.

Не ожидавшие такой дерзости, игроки на какой-то миг опешили и только молча смотрели на него.

Первым пришел в себя Кадр Кали.

— Ах ты, щенок! — прошипел он сквозь зубы, медленно поднимаясь и сжимая кулаки. Глаза его, казалось, вот-вот выкатятся от бешенства. Вслед за ним с воинственным видом встали дружки.

Чувствуя за спиной крепкие тылы, Кали бросился на Тауфика, но удара не получилось. Его длинные руки бестолково молотили воздух над головой подростка, и со стороны казалось, будто он ищет опору, чтобы не упасть. Зато кулаки Тауфика, налившиеся в работе тяжестью достигли цели, и Калимулла мешком стал оседать на землю. Стоявшие позади приятели и не подумали поддержать его, а лишь расступились, освобождая место, когда тот стал падать.

Тауфик, чувствуя в себе неудержимую силу, заведенный схваткой с Кали, смело двинулся на «гостей»:

— А вы лучше убирайтесь, пока целы. И вообще забудьте сюда дорогу.

— Потише, щенок, а то сам получишь... — Дружки Кали, уже оправившись от минутного замешательства, пошли на него.

«Неужели история с Фарвазом нас ничему не научила? — мелькнуло в сознании Тауфика. — Один будет отбиваться, а остальные безучастно смотреть? Почему мы теряемся в такие минуты? Неужели мы, столько проработавшие вместе и сплоченные общей бедой, все еще не коллектив, а просто трусливая неорганизованная толпа?..»

Но в следующий момент, словно прочитав его мысли, пахари без слов оттеснили от него троицу и сомкнули вокруг нее кольцо. Однако торжествовать победу было еще рано. В руке одного из троих мелькнул складной нож с двумя лезвиями. Другой тут же выхватил из сапога настоящую финку. Приятели Кали были явно «под градусом» — это чувствовалось по запаху — и, значит, от них можно было ожидать чего угодно.

Обстановку неожиданно разрядил чей-то возглас:

— Председатель едет!..

Действительно, гремя колесами, по дороге катил председательский тарантас. Человека, сидящего рядом с председателем, нетрудно было узнать по военной форме.

— Военком, смывайтесь, — успел предупредить дружков поднявшийся наконец Калимулла.

Круг мгновенно распался, и хулиганы, спрятав ножи, не разбирая дороги бросились к оврагу.

Когда тарантас остановился у края пашни, Кадр Кали первым взялся за плуг.

Всех, кому на будущий год предстояло идти в армию, собрали в райцентре на военную учебу. Получив повестку, Кадр Кали обрадовался: для него нашлась причина не выходить на пахоту.

В этот день из-за сборов оставили работу и еще несколько человек. Пахали небольшим составом, и, как нарочно, день выдался особенно трудный — с утра пекло так, что нечем было дышать.

— Наверное, к ненастью, — сказал пожилой хромой пахарь Зуфар, потирая больную ногу. — Дай бог целебного дождя, а то как бы град не пошел. Видишь, вон впереди тучи крутится белое облако, — повернулся он к Тауфику. — От него добра не жди. Может положить хлеба.

Вскоре небо на юго-востоке совсем потемнело. Тучи сгущались с каждой минутой.

Посоветовавшись, решили побыстрее распрячь лошадей и вернуться в село.

Беспощадное пекло сменилось резким похолоданием, и ледяной ветер, пробиваясь сквозь плохонькую одежду, обжигал тело.

Буря застигла пахарей еще в дороге.

— Давайте поставим лошадей под орешник, а сами укроемся под мостом, — предложил Тауфик.

Быстро сняли уздечки, но добежать до моста не успели — крупные градины величиной с воробьиную голову больно секли по лицу и рукам.

— Ладно еще, что на голове кепка, — засмеялся Фарваз, — а то бы шишек навскакивало.

Вот и мост через маленькую речку, по которому они пробегают каждое утро. Здесь, в укрытии, было не так холодно.

— Как там наши лошади?.. Жалко их.

— Лошади-то вытерпят, — снова мрачно сказал Зуфарагай, — а вот хлеб... Э-эх, уже ведь заколосились хлеба — и на тебе! Война, а если еще вдобавок и голод...

Слушая его, Тауфик сразу вспомнил рассказ матери о дедушке Гарифе. Он был рослым, плечистым и здоровым, как и отец. В деревне все называли его «Гариф, который проклял аллаха». А пошло это с того, что еще в пору единоличных хозяйств, когда дедушка Гариф вовсе не был дедом, а пребывал в расцвете лет, над селом выпал сильный град, превративший поспевающие уже хлеба в сплошное

месиво. Крестьяне, которых непогода застала в поле, укрывшись под телегами, наблюдали эту страшную картину и плакали от бессилия изменить что-либо. Ждать помощи было не от кого, тогда каждый хозяин мог рассчитывать только на свои руки да на этот вот лоскуток земли в сто шагов длиной и столько же шириной. Когда град перестал сечь безвинные посевы, Гариф в отчаянии взобрался на телегу и, встав во весь рост, гневно потрясал кулаками и кричал яростно, глядя в небо:

— Эй, аллах, нету у тебя к роду человеческому никакого милосердия! Теперь я не буду соблюдать уразу [1], не пойду в мечеть молиться! Я не боюсь тебя, знай! Если ты всемогущ, порази меня, грешника, своей молнией, — и обеими руками он разорвал на груди рубаху.

Молния слабо сверкнула где-то вдали, нехотя пророкотал гром. Дед так и стоял на телеге и, обращаясь к небу, кричал, все больше распаляясь:

— Чего же ты не караешь меня за такие слова? Я не боюсь...

В поле тогда было много народу, и все слышали, как Гариф «беседовал» с небесным владыкой. Вот и пошло с тех пор: «проклявший аллаха». Дед уже давно отошел в мир иной, а его потомков все преследует это прозвище. «А-а, — скажут непременно о ком-то из Муратовых, — это тот, что из рода Гарифа, проклявшего аллаха?..»

Град все еще отчаянно лупил по мосту, ветер, срываясь с кручи, метался по низине и тоже, казалось, спешил в укрытие, чтобы спрятаться вместе с людьми. И мысли Тауфика от событий давнишних снова возвращались к делам и заботам последних дней. Ему не давало покоя, что из их семьи никто не ушел на фронт. Смириться с тем, что ни один из Муратовых не встал на защиту Родины?! Как будто у них нет мужчин! А он разве не мог бы сражаться с врагом на передовой?! Мог бы! Только вот лейтенант из военкомата не понял этого.

Да, позавчера, после работы, никому не сказав ничего, он тайком направился в военкомат. Решение его было твердым — проситься в армию. Но, войдя в помещение комиссариата, он вдруг оробел. Долго топтался в коридоре, подтягивая потуже ремень на впалом животе, слюной приглаживал торчащие вихры. Наконец на него обратил внимание однорукий лейтенант, который то входил в кабинет, то выходил из него с какими-то бумагами.

[1] Мусульманский пост.

— Ты к кому, парень?

— Да я, дядя... то есть товарищ лейтенант... я по делу. К военному комиссару, — заикаясь, ответил Тауфик. Лицо у него горело от волнения.

— Айда, заходи. Военкома нет. Я — дежурный и исполняю все дела.

И Тауфик, снова заикаясь и путаясь, рассказал о том, что его мучило все эти дни. Кончив, он перевел дух и посмотрел на лейтенанта.

У дежурного от улыбки брови метнулись вверх. Единственной рукой он крепко похлопал подростка по спине.

«Раз так — решил, обрадовавшись, Тауфик, — он отправит меня на фронт!» Но лейтенант отрицательно покачал головой.

— Эх, браток, не ты один уже побывал здесь... Сколько таких, несовершеннолетних, приходят с заявлениями, с просьбами немедленно отправить на передовую. Но, пойми, фронт — это не игра в войну, не сабантуй, и мальчишкам там не место.

Тауфик оскорбился:

— А я, товарищ лейтенант, не играть в войну прошусь, а фашистов бить.

— Ого, — снова улыбнулся офицер. И тут же сказал серьезно: — Нет, браток, давай не будем спорить. От вас пока больше пользы в тылу. Ты ведь без дела не ходишь, верно?

Тауфик ответил, что пашет.

— Тем более. Значит, ты тоже на фронте, на трудовом. Слыхал, наверное, сейчас говорят «трудовой фронт», «трудовая армия». Солдатам там, на передовой, хлеб нужен! Так что выбрось эти мысли из головы и завтра же — работать. Да чтоб по-ударному!

Вести разговор дальше у лейтенанта намерения не было, и он, не церемонясь, проводил подростка до двери:

— Иди, парень, и больше не отрывай от дела.

После того как Тауфика самым настоящим образом выставили из военкомата, настроение у него совсем испортилось. Утром не было никакого желания выходить на пахоту, и лишь сознание, что это его долг, заставило подняться.

Впервые за все время он начал борозду неохотно, но постепенно увлекся работой и вскоре пахал с прежним удовольствием, самозабвенно, радуясь разбуженной им земле...

Теперь же, спасаясь от ненастья под мостом, он снова

вернулся к мысли о фронте. И опять она обожгла его изнутри, всколыхнула обиду.

— Слушай, давай убежим, а? — шепнул он Фарвазу, сидящему рядом.

— Куда? — не понял тот.

— На фронт!

В глазах Фарваза сразу вспыхнули искры восторга. Мальчик даже приподнялся с места:

— Айда!

— Куда это вы? — прислушался старый пахарь Зуфар. — Чего замышляете?

— Да мы хотели посмотреть лошадей... И хлеба́ — не сильно ли побило...

— Думаю, полосой, по долине реки, прошел град. Может, нашу делянку прихватил и часть пастбища, но это не страшно. Теперь только надеяться, что хлеба остались в стороне.

Друзья снова зашептались:

— Завтра приготовим еду на дорогу. А послезавтра — на станцию и в поезд.

Какие препятствия могут существовать для мальчишек в тринадцать — четырнадцать лет? Чего им стоит убежать украдкой прямо на фронт?! Ведь они столько времени тайно мечтали об этом!

Разногласий между Тауфиком и Фарвазом не было, они поняли друг друга с полуслова.

Дома Тауфик застал земляков из Кысынты. Рослые здоровые парни, приехавшие на военные сборы, здоровались с ним за руку, как с ровесником. Было шумно, и изба, обычно пустая и просторная, теперь казалась тесной. Один из парней не слишком уверенно растягивал его гармонь, безбожно искажая мелодию. «Смелые они, однако, — подумал подросток, — не гляди, что из маленькой деревни. Им не то что через год — прямо хоть сейчас можно отправляться на фронт. Эти хвост поджимать не будут. Увидел бы их Кадр Кали...»

Мать, обрадованная приездом гостей, хлопотала с ужином, успевая между делом расспрашивать о последних новостях, благодарила за приветы. Лицо у нее светилось — что там ни говори, а доброе слово, присланное из родной деревни, тоже греет.

Тауфик очень хорошо понимал мать, а вот Разифу, которая уже успела прибежать на звуки гармошки и разгова-

ривала с кысынтинскими парнями по-свойски, как с давними знакомыми, не понимал вовсе. «И чего ей надо от этого неудавшегося гармониста, чего она крутится возле него, ведь он не играет, а только мучает чужой инструмент?..» — у Тауфика как будто защекотало внутри. Наверное, впервые переживал он незнакомое чувство, именуемое ревностью. Присутствие в доме односельчан, которому он поначалу обрадовался, теперь вызывало в нем раздражение.

Мать поставила на стол миску горячей молодой картошки, принесла ржаной каравай, который сегодня получился особенно пышным и румяным. Подкрепившись, парни загорелись желанием идти в Дом культуры.

— Давай с нами, — уговаривали они Тауфика. — Сыграешь на гармони. Что нам ваши танцы под пианино, мы полы ногами подметать не обучены. Плясать, да чтоб половицы скрипели — вот это дело! Ну, пошли?..

— Вон, у вас есть кому играть. Гармонь берите, а я устал... — уклонился Тауфик.

Но, несмотря на отказ, его продолжали уговаривать.

— Послушай, Тауфик, — вмешалась Разифа, — когда тебя просят столько твоих земляков, ты просто не имеешь права отказывать. Кто знает, доведется ли еще собраться всем вместе... Ведь им на будущий год туда, — она кивнула головой куда-то в сторону запада, видимо не решившись произнести слово «фронт». — Так почему бы нам не погулять сегодня?

Тауфик впервые подумал о Разифе нехорошо: «Пятнадцать дней, как уехал отец, а ей уже и погулять охота... Быстро же ты забыла про свою печаль, пока кокетничала с парнями...»

— Ну пойми, им же уезжать, — почти умоляла его Разифа.

«Им уезжать только через год. А что бы ты запела, если бы узнала, что мне уезжать послезавтра? — все больше распалял себя Тауфик. — Постой, — спохватился вдруг он, — ведь получается, что это и мой прощальный вечер?..»

И, посмотрев Разифе прямо в глаза, он сказал почти приказным тоном:

— Тогда иди и позови Фарваза. Сейчас же. Он тоже прощается... — чуть не проговорился и прикусил язык.

Но Разифа тут же прицепилась к его словам:

— С кем прощается?

— Ну... прощается с детством, — он обрадовался, что вовремя подвернулись эти слова, вычитанные когда-то в ка-

кой-то книжке. — Не заметила разве, что Фарваз превратился в парня? — понесло Тауфика дальше. Разифа изумленно смотрела на него.

Но взгляд подростка уже был прикован к кухонному столу, куда мать ставила только что вынутые из печи душистые караваи, каждый величиной едва ли не с мельничный жернов. Прежде чем она накрыла хлеб цветным домотканым полотенцем, Тауфик успел прикинуть на глаз: вот этих двух, с краю, пожалуй, должно бы хватить на дорогу. По его представлению, фронт, если мерить по карте, был не так уж далеко.

Довольный, Тауфик быстро переоделся и, взяв гармонь, сказал решительно:

— Пошли!

Это был второй его выход на люди с гармонью, но теперь он шел свободно, не стесняясь и играл всю дорогу до Дома культуры. «Пусть слушают, — точил сознание какой-то противный червячок, — может, я иду по этим улицам в последний раз...»

Парни, прибывшие в райцентр на военные сборы, услышав гармонь, выходили из домов, по которым их разместили, и присоединялись к компании. Выбегали за ворота и местные девчата, догоняли идущих. У Дома культуры Тауфик с удивлением заметил, что народу собрал он за собой порядком.

Разифа, не колеблясь, взяла на себя роль запевалы, но стоило Тауфику заиграть зажигательную плясовую, тут же пошла в круг, плавно поводя плечами и изгибаясь в такт мелодии. Обычно смелые на гулянье, райцентровские девушки поначалу как-то растерялись, но приехавшие парни не заставили себя долго ждать и, выдавая то дробь, то коленца, закружили их в зажигательной пляске.

Тауфик играл и смотрел на Разифу. Она была очень хороша в эти минуты — щеки ее раскраснелись, глаза сияли. Двигалась свободно, раскованно и сразу выделялась среди других. Может, простенькие деревенские мотивы были близки ей еще и потому, что она тоже родилась в небольшом селе: до перевода в райцентр ее отец председательствовал в этом колхозе.

Как водится на сельских гуляньях, образовали круг, и Разифа начала частушку про любовь с первого взгляда. Аккомпанируя ей, Тауфик занервничал и чуть было не сфальшивил: в какой-то момент ему показалось, что она поет для парня, который пытался играть на его гармони.

Тот, видимо, тоже подумал, что припевки посвящаются ему, и не остался без ответа:

...Ту, чье имя Разифа,
Выделяю тоже,
Не найдете вы в округе
На нее похожей...

И, совсем осмелев, он вышел на круг и потянул за собой Разифу.

Нет, такого Тауфик уже не мог вытерпеть, ревность захлестнула его с головой. Откуда ему было знать, что девчонки вообще взрослеют раньше, и в этот вечер Разифа, перешагнув какой-то не видимый ни ему, ни ей самой порог, навсегда уйдет из детства, оставив там юного пахаря, умелого, трудолюбивого, сильного, но все-таки еще мальчишку. Разифа смотрела на мир уже другими глазами, и, не понимая этого, Тауфик вымещал свои чувства на гармошке, растягивая ее с неистовой беспощадностью, так что казалось, она вот-вот разорвется. Пальцы его едва успевали касаться кнопок, и разошедшиеся было кысынтинские парни и местные девчата никак не могли попасть в такт.

Кружась возле гармониста, Разифа, все та же, но внутренне уже странно далекая, отпускала в его адрес сердитые замечания:

— Эй, Тауфик, ну что ты вытворяешь? Под твою игру невозможно подстроиться... Ты просто издеваешься над нами... Хоть гармонь пожалей!

Ревность не давала покоя не одному Тауфику. На занавешенной сцене вдруг загремел рояль. Он был давно расстроен, и во всем райцентре вряд ли нашелся бы человек, способный хорошо сыграть на нем.

Кто заставил инструмент дребезжать, выяснилось довольно быстро. Кадр Кали не мог смириться с тем, что приезжие парни устроили вечер в их Доме культуры, как у себя в клубе, да еще под гармошку Тауфика, собравшую райцентровских девушек, и молотил по роялю, стараясь извлечь подобие какой-то мелодии, а его дружки, выбравшись из-за кулис, вихлялись под эту дикую музыку.

Чтобы заглушить рояль, Тауфик тоже заставил свою гармонь выдавать визгливые звуки. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта «дуэль», но Разифа, не выдержав, поднялась на сцену. Ее тут же окружили приятели Кали и за руки потащили танцевать.

Так хорошо начавшийся вечер был испорчен. Деревенские парни тоже горели желанием усмирить райцентров-

ских выскочек. Сцепившись с ними, трое приезжих чуть было не порвали занавес. Потасовка могла бы кончиться плохо: ни те, ни другие не собирались уступать. Но резкий свисток внезапно появившегося милиционера сразу же погасил страсти.

Всем велели расходиться, а Дом культуры закрыли на замок.

И все-таки до самой Озерной кысытинские парни шли с песнями. Уже у ворот Разифа отозвала Тауфика в сторону и строго, тоном назидательницы, спросила:

— Что с тобой случилось? Ты просто издевался над нами весь вечер.

Тауфик смотрел на нее сквозь темноту и упрямо молчал.

— Конечно, — настойчиво продолжала Разифа, — ты можешь сказать, что даже рта не раскрыл. И все-таки это была издевка, коварная, исподтишка. Думаешь, я не поняла? Эх, ты, мальчишка!

Последние слова особенно задели подростка. Разифа специально подчеркнула, что он еще не дорос до нее. Тауфик хотел было повернуться и уйти, не ответив ни слова, но вовремя спохватился. Уйти — означало бы выдать свою обиду, а это вовсе не к лицу ему, пахарю, завтрашнему бойцу...

Он знал, что, может быть, потом будет очень жалеть об этом, но загадочные слова вырвались сами собой:

— ...Через два дня ты получишь от меня письмо, — в горле у него пересохло, и голос не слушался. — Только прочти его еще через три дня. Если не выполнишь это условие, станешь моим врагом... — И, не дожидаясь расспросов, круто повернулся и решительно пошел через улицу.

9

...Луна повисла над самой крышей, и в ее вызывающе желтом свете, сочившемся через щели, Тауфик Муратович ясно различал, из каких трав кошено сено. Где-то за озером подал голос транзистор и тут же умолк. Спать не хотелось. Думая, о чем он станет говорить завтра в школьном трудовом лагере, Тауфик Муратович перебирал в памяти наиболее значительные события своего детства. Будет ли это интересно ребятам, ведь подвигов он не совершал. Им подавай что-нибудь захватывающее, необычное. А он может рассказать только о профессии пахаря. И если сумеет убедить своих молодых слушателей, что труд хлебороба и

теперь, как и прежде, остается главным делом на земле, значит, с задачей своей справится. Но вот как рассказать, чтобы тебе поверили? Поверили в то, что любимое дело всю жизнь доставляло тебе радость, определяло твою судьбу? Что кроме любви к делу существует на этом свете такое понятие, как долг. Наверное, прав был мудрый человек, который сказал: «Если не можешь выполнять любимую работу, то люби выполняемую...» Найти дело по душе удается не каждому, но и в этом случае нельзя работать вполсилы.

...Нет, все же в любимом деле всегда скрыто загадочное начало: оно и увлекательно, и тяжело, и радостно одновременно. Однако попробуй рассказать об этом — получатся одни неловкие слова. Ими невозможно передать свои сокровенные ощущения, которые испытываешь, как невозможно разложить на составляющие чувства, рождаемые песней...

Воспоминания часто грешат однобокостью. А ему бы очень хотелось, чтобы ребята прониклись духом суровых военных лет. Они знают от старших, что война принесла лишения, горе, страдания, что их ровесники не имели возможности досыта есть, одеваться как хочется. Но знают ли они, что не это было главным содержанием тех дней? Главным в то время в тылу стал повседневный самоотверженный труд, который без натяжки можно назвать героическим. Он отбирал последние силы, но и давал духовное возмужание. С ним уживались высокий полет мысли, радость, шутка... За всем этим стояла вера, все это помогало не просто выжить, а жить достойно, бороться и победить.

...Память снова возвращала Муратова в то далекое лето.

Опустив письмо в почтовый ящик еще в райцентре, Тауфик надеялся, что Разифа все же выполнит его условие, и за три дня они успеют добраться до фронта, а если и не до самого фронта, то, по крайней мере, будут совсем близко от передовой.

Письмо было коротким:

«Разифа! Нас с Фарвазом не теряйте. Скажи нашим матерям, чтобы не беспокоились за нас. Когда ты вскроешь этот конверт, мы будем уже очень далеко от дома. Сообщить, куда мы отправились, пока не можем, об этом узнаешь из следующего письма. Когда ты его получишь, мы уже будем исполнять свой долг...»

В начале письма Тауфик старался сохранить цель по-

бега в тайне, но восторженная душа рвалась наружу, и, увлекшись, он закончил его такими словами: «Верьте, мы вернемся только победителями...»

До железнодорожной станции двое путешественников добрались лишь к вечеру. Тридцать километров были пройдены без остановки, и от усталости подростки еле держались на ногах. Густая зеленая трава возле станционных домиков притянула их как магнит. От хлебного духа, идущего из мешка, слегка кружилась голова и сосало под ложечкой. За весь путь, как условились, они не взяли в рот ни крошки и вообще решили в этот день не есть совсем. Но, оказывается, чем голодней желудок, тем чувствительнее нос, даже такой, как у Фарваза.

Еще по дороге они рассуждали о том, сколько времени может не есть человек, и пришли к выводу, что дней десять — двенадцать. Потом Фарваз вспомнил, что читал в одном зарубежном романе, как шахтер, отрезанный из-за аварии от внешнего мира на полмесяца, остался жив.

Этот пример сразу воодушевил приятелей. Все-таки, каким бы длинным ни был их путь, им все равно ехать не полмесяца, и значит, долго мучиться не придется. В мешке за спиной лежат непочатые караваи, а впереди — целая страна, щедрая и добрая Россия. К тому же — и это, конечно, очень печально — линия фронта перемещается им навстречу, и, как можно догадаться по сообщениям радио, очень быстро. Может быть, когда они подоспеют, Красной Армии удастся остановить фашистов и заставить их драпать...

Однако беглецам не повезло. Тяжелые военные эшелоны, не принимая в расчет маленькую станцию, гремя колесами, проносились мимо.

От голода уже стало урчать в животе, и в воображении друзей, как назло возникали то салма [1], то кыстыбый [2], которые так вкусно готовили их матери. Оказывается, голод притупляет силу воли, а не сила воли голод. Неожиданно оба поймали себя на том, что их тянет обратно домой, и ехать невесть куда совсем не хочется.

«Нет, нельзя поддаваться слабости, раскисать, — твердил про себя Тауфик, стиснув зубы. — Хоть умру, но обратно, как трус, не вернусь». И вновь с надеждой всматривался в даль. Глаза его уже слезились от напряжения, однако поезда, который мог бы, остановившись, приютить их в

[1] Первое блюдо типа лапши.
[2] Просяные блины.

каком-нибудь своем закутке и увезти на запад, так и не было.

Вечер казался бесконечно длинным. Медленно собрались вокруг сумерки, и теперь подростки прислушивались к дальним звукам. Постепенно приближаясь, они нарастали, и вот уже новый эшелон летел мимо них в темноту, заставляя дрожать стекла в стационных постройках.

В полночь Фарваз не выдержал:

— Может, вернемся?..

Тауфик не дал ему договорить:

— Даже в мыслях не держи... А то — я один...

Фарваз опустил голову между колен и сжался в комок. Он очень стыдился своей минутной слабости. В какой-то миг Тауфику показалось, что друг его сделался совсем маленьким, и ему стало жаль его. «Да, с голодом шутки плохи, быстро может сломать. Вот и дальше в пути с Фарвазом будет нелегко», — подумал он и, решившись, сказал:

— Слушай, Фарваз, давай съедим по куску хлеба?

Тот сразу встрепенулся, поднял голову, но не ответил. Гордость не позволяла ему выразить свою радость вслух

Развязав мешок, Тауфик вынул каравай хлеба, запах которого особенно в последние часы не давал покоя, и ножиком, привязанным к ремню суровыми нитками, стал не спеша отрезать горбушку.

Фарваз то и дело сглатывал слюну, от чего у него уже сводило челюсти, и, чтобы не видеть хлеб, отвернулся. Видимо, проявив один раз малодушие, он дал себе слово держаться.

Через минуту небольшая, как ладошка, краюшка хлеба была в руке у Тауфика. Подумав и отщипнув от нее кусочек, он протянул горбушку Фарвазу, а все остальное снова опустил в мешок, надеясь, что друг не заметит этого.

— А ты? — Фарваз тут же перестал жевать и выжидающе смотрел на Тауфика.

— Я... еще не проголодался, — невнятно буркнул тот.

— Тогда и я, — и отдал начатую было горбушку обратно. — Что я, маленький, что ли...

— Ну, ладно, и я немного, — сдался Тауфик, снова доставая каравай.

Проглоченный разом хлеб только раздразнил пустой желудок, но все равно от еды как будто полегче стало на душе. Чувство неприкаянности, способное поколебать даже самые твердые намерения, на некоторое время отступило.

Но Тауфик и Фарваз не знали другого: стоит только го-

лодному и уставшему человеку хоть немного поесть, его тут же потянет в сон.

Прошло совсем немного времени после ночной трапезы, как их начала забирать дремота. Почувствовав, что засыпает, Тауфик вскочил, потянулся до хруста в суставах протер глаза и приказным тоном сказал:

— Ты будешь спать, — и, скинув пиджак, протянул его Фарвазу: — Возьми, укройся...

— А ты? — вопросительно посмотрел на него тот.

— А я буду караулить поезд. Через два часа ты сменишь меня.

«Вот так будет по-военному», — довольный собой, подумал Тауфик. Он почувствовал ответственность за товарища и сразу представил себя командиром. Теперь намеченная цель показалась ему значительнее и ближе.

...Уже перед самым рассветом земля стала уплывать из-под его ног. Беззвучная музыка зари сменилась трелями жаворонка, а вслед за ним начали свою песню колеса плуга. Юный пахарь парил над бороздой, с наслаждением ощущая свою невесомость, и улыбался.

Упершись одним плечом в стену и слегка покачиваясь, Тауфик задремал, стоя, и даже в этом коротком сне видел свою работу.

Очнулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. Это был дежурный милиционер. Он давно обратил внимание на двух мальчишек и приглядывал за ними.

— Что вы здесь делаете? Кого высматриваете?

Тауфик протер глаза:

— Да мы, дяденька, поезд ждем...

— И куда же путь держите?

— В Куйбышев, к старшей сестре...

— Ну и ну, — сказал милиционер, смерив его с ног до головы недоверчивым взглядом. — В такое-то время в гости... Вы ведь взрослые уже, должны быть на работе.

— А мы работаем, на пахоте... Едем ненадолго, сестра там очень сильно болеет, — запинаясь и краснея, врал Тауфик.

— Ну, тогда другое дело. Только что же вы, расписания не знаете? Поезд на Куйбышев будет после обеда, а вы уже все глаза проглядели.

Тауфик не знал, что ответить, только молча пожимал плечами. Милиционер, увидев, как Фарваз ворочается во сне с боку на бок и, ежась от холода, натягивает пиджак то на голову, то на ноги, сказал:

— Так не мучай младшего брата. Идите в зал ожидания и ложитесь на диван, там тепло.

«Если его не послушаться, еще начнет допытываться», — подумал Тауфик и стал будить Фарваза. Не в силах очнуться от сладкого утреннего сна, тот, спотыкаясь и ничего не понимая, пошел за ним следом.

После ночи, проведенной на улице, зал показался особенно душным и вонючим. Табачный дым, висевший в воздухе, вызывал тошноту и удушье. Но не прошло и нескольких минут, как друзья крепко уснули, растянувшись на жестком фанерном диване.

...— Проснись, Тауфик! — кто-то будил его голосом Разифы и осторожно касался руки.

Стараясь понять, где он, Тауфик моргал глазами и наконец увидел склонившуюся над ним Разифу.

В сознании все события выстроились в цепочку. Железнодорожная станция. Они с Фарвазом едут на фронт. Зал ожидания вокзала... Но как здесь очутилась Разифа? Приподнявшись он, увидел рядом с ней офицера, лицо которого показалось ему знакомым. Постой, да это же тот самый однорукий лейтенант, что выставил его из военкомата! А за ним — милиционер...

Сквозь стекла лился яркий солнечный свет, и Тауфик понял, что спали они довольно долго — бессонная ночь сделала свое дело.

...— Со вчерашнего вечера здесь, — говорил милиционер лейтенанту. — Не зря, значит, они рвались к проходящим составам. Я и заподозрил их. Выходит, и в самом деле плутовали...

— Вставайте, беглецы, приехали! — лейтенант склонился над диваном, на котором сидели еще не проснувшиеся окончательно приятели. — Как вас теперь называть? Только дезертирами, самое подходящее слово. Бросить работу и убежать — все равно что на фронте бросить оружие и дать деру.

— Мы не дезертиры. Мы едем на фронт, — смело отпарировал Фарваз. — И вы не имеете права нас задерживать!

— Ого! — засмеялся лейтенант. — Ишь ты какой бойкий, оказывается, заждались такого на фронте... — И уже совсем добродушно закончил: — Ладно, ребята, поиграли — и хватит. Поворачивайте оглобли и не доставляйте больше людям лишних хлопот. Завтра с утра — на работу!

— Мы не для того уходили, чтобы возвращаться обратно, — возразил Тауфик.

Лейтенант усмехнулся и многозначительно посмотрел на милиционера. Тот сразу понял его:

— Если вы не послушаетесь, будем вынуждены поместить вас в КПЗ, а потом наказать за нарушение требований военного времени.

Спорить дальше было бессмысленно, и вскоре беглецы с позором заняли место на козлах. Лейтенант и Разифа устроились сзади, и тарантас покатил в сторону райцентра.

Лошадь бежала рысью, плавно покачивалась на рессорах повозка, и железнодорожная станция казалась уже такой же далекой и недосягаемой, как и мечта о фронте. Тауфик оглянулся и сразу поймал на себе взгляд Разифы. За все это время, чувствуя себя виноватой, она не произнесла ни слова, а тут не выдержала:

— Не сердись на меня, Тауфик. Я не смогла, как ты велел, выдержать три дня. Время такое, вы без документов... Думала, будете где-нибудь мыкаться...

Тауфик ничего не ответил и даже не пошевелился. Про себя он уже называл Разифу предательницей и дал себе слово вообще не разговаривать с ней. В этот момент подросток был уверен, что никогда не простит ей того, что произошло.

На другой день Тауфик и Фарваз вышли на пахоту. По дороге в поле они мучительно представляли, сколько насмешек придется выслушать, и особенно от Кадра Кали.

Но, как ни странно, никто даже словом не обмолвился о побеге, будто и не заметили их двухдневного отсутствия. Лишь на следующий день, за обедом, самый младший из пахарей, совсем еще мальчишка, восхищенно поглядывая то на Тауфика, то на Фарваза, сказал:

— Вы молодцы, решились на фронт ехать. Только и мне надо было сказать, со мной не попались бы...

Остальные сдержанно улыбнулись.

Кадра Кали среди пахарей не было. Военные сборы в райцентре уже закончились, но на поле он больше не появлялся, догуливая последние денечки в родных местах. Узнав, что тех, кто поступает в ФЗО или ремесленное училище, не берут в армию, пулнаймуш Галяу быстро сориентировался и теперь уже сам обеими руками толкал сына в ФЗО.

...«Да, вряд ли можно было предположить такую встречу», — Тауфик Муратович вспомнил, как свернул в переулок, узнав его, Калимулла Ахметов. Тогда, уехав из села, он закончил фабрично-заводскую школу. Благодаря расчетливости, унаследованной от отца, получил бронь, спасшую его от фронта. Был угодлив и исполнителен на работе. Когда закончилась война и Калимулла вышел из призывного возраста, он оставил завод и вернулся в райцентр, чтобы прибрать к рукам отцово хозяйство. И все-таки считал, что судьба обошлась с ним несправедливо, лишив возможности стать руководящим кадром. Вот уже тридцать лет, бранясь, носит он за спиной почтовую сумку, и печать недовольства сходит с его лица, только когда получатель перевода благодарит его за услугу мелочью, а то и рублем.

...А Разифа? Что заставило ее выйти замуж за ненавистного ей человека? Может быть, то, что большинство парней не вернулось с войны и в селе больше не было женихов? Или отчаяние? Гибель отца словно подрезала ей крылья, и в Разифе уже никто не узнавал прежней задорной и смелой девчонки. Кое-кто в селе говорил, что Калимулла взял ее силой и она в конце концов смирилась со своей участью. Как бы там ни было, двое людей с совершенно противоположными взглядами на жизнь, называясь семьей, растят кучу детей и тянут лямку безотрадного совместного существования.

О судьбе Разифы в общих чертах Тауфик Муратович знал от матери, но сегодня он впервые думал о ней с беспокойством и болью, чувствуя себя виноватым и перед ней.

...Вместе с Фарвазом они по-прежнему ходили на пахоту с ранней весны до глубокой осени. Учеба в школе давалась Тауфику легко, и он успевал помочь матери по дому. Иногда зимними вечерами брал гармонь и играл на ней мелодии военных песен. Мать садилась рядом и поглядывала в проталинку на стекле: не придет ли на звуки гармошки Разифа. Но она не шла, потому что с тех пор, как Тауфика задержали на станции, он перестал с ней раговаривать.

...Потом была Победа. Радость и слезы... Черемуховая метель и вслед за ней выпускные экзамены.

Тауфик закончил школу с золотой медалью и поступил на механический факультет сельскохозяйственного института.

...Учеба в аспирантуре в Москве... Работа над диссертацией... Все это отдалило его от родных мест. В короткие

приезды к матери, в суете, он не чувствовал острой тоски по дням юности. Она захлестнула его позже, когда он уже жил в городе.

...Пахарь... Сколько лет прошло с тех пор, когда он ходил за лошадным плугом, но по сей день он почти физически ощущает свою связь с землей. Сколько лет прошло, а как будто было только вчера... Надо же, его плуг стал музейной реликвией!.. А где его кони?.. Те, что делили с ним тяжелый и радостный труд? Их фотографиям тоже место в школьном музее, и их немудреные клички должны быть названы рядом с именами пахарей тех суровых лет. Сегодняшние тракторы через некоторое время тоже потеснит более совершенная техника. Как сегодняшние плуги — плуги по безотвальной обработке почвы, которые не ранят землю, не разрушают структуру почвы. И все равно труд пахаря никогда не будет легким, потому что он связан с землей, потому что он связан с погодой, потому что он связан с хлебом...

Еще утром Кинзягул в запальчивости говорил ему: «На три дня приехал! Технику за три дня не поймешь. Поработай на ней в зной да в дождь, весной да осенью, вот тогда и увидишь все изъяны... В этом ваша беда — ученых и конструкторов. Наедете, мельком посмотрите—и конструируете. А мы потом расхлебываем...» И Тауфик Муратович целый день носил в себе сердитые слова брата. В чем-то он прав.

«А что, почему бы не попробовать? — Эта мысль как током пронзила Муратова. — Взять в августе отпуск и приехать. Можно даже в звено Кинзягула... Сначала на жатву, потом на пахоту... — от удовольствия Тауфик Муратович даже потер руки: — Решено! Утром надо сказать об этом брату». Ведь он, Тауфик до сих пор чувствует себя пахарем. В конце концов, в этом вся его жизнь...

С этими мыслями, наконец успокоившись, Муратов заснул.

...От просторных полей, покрытых желтой щетиной стерни, веет прохладой осени, запахом свежей соломы и печеной картошки. Занятия в школе начнутся только в октябре, и потому Тауфик взрезает своим плугом новую борозду, которая сладко кружит голову, выбегая из-под ног жирной черной лентой.

— Скрип-скрип, — заводят свою незатейливую песню колеса.

— Фюить-фюить, — вторят им голоса запоздалых птиц.

ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

1

Пряча под пальто букетик хрупких гвоздик, я пробирался по сугробам мимо озябших кленов, утопающих в снегу кустов сирени и акации — в надежде найти протоптанную прежде, до метели тропинку. Сырой ветер свистел в темных и голых, точно прутья кладбищенской ограды, ветвях, и на душе у меня, как и в природе, было стыло и неуютно.

Где-то впереди глухо и печально вздохнул барабан, загудели медные трубы — смерть погоду не выбирает, — и от звуков этих по телу пробежала дрожь.

Сквозь снежную пелену, там, где еще недавно была нетронутая лесная полянка, вырисовывались свежие, еще без памятников, могильные холмики. Возле одного из них я заметил сгорбленную женскую фигурку. «Да-а, горе и память сильнее нас, — невольно мелькнуло в сознании. — Не одного меня привели сюда в такую непогоду...»

Мой путь пересекала похоронная процессия, и я замедлил шаг. Вот и еще для кого-то оборвалась только начавшаяся весна. Даже здесь, на кладбище, с этим невозможно смириться, для оставшихся жить это всегда страшно, несправедливо, нелепо, хотя и их рано или поздно ждет то же самое. Что-то свинцовой тяжестью давило на плечи, и я уже не мог понять — то ли это пальто, отсыревшее от бесконечного, летящего крупными хлопьями мокрого снега, то ли траурная мелодия, сочиненная много лет назад, чтобы люди острее чувствовали свое горе. Запах влажной земли, бьющий в ноздри и бередящий душу, заставил задуматься и о своих годах. Что поделаешь, вот и я достиг того печального возраста, когда начинаешь вести счет потерям: уже немало моих сверстников и друзей лежит на этом кладбище. Совсем седой стала голова — столько пролетело весен — а так хочется, чтобы еще не одна была впереди.

Но почему я стою возле этой процессии, где нет знакомых мне людей? Зачем мне быть свидетелем чужого горя? Я и без того знаю, что все в этом мире тленно... Нет, неправда, не всё. Люди уходят, но только не из памяти. Они живут в малых делах и свершениях, в ратных подвигах... Сколько таких, как мой отец и дядя, ушло в землю до срока

от старых ран. Но бегают беззаботно под мирным небом их внуки, учатся жить, любить, помнить...

У могилы дяди, прислонившись к ограде, я стоял, поглощенный мыслями, и не заметил, когда начало смеркаться. Только почувствовав пробирающую сквозь одежду сырость, заторопился домой.

Мои следы уже успело замести, как и следы похоронной процессии, и я снова шел по безмятежной целине: можно было подумать, что люди забыли сюда дорогу. Я был уверен, что ухожу последним. Но в следующую минуту будто что-то толкнуло меня изнутри. Я оглянулся: одинокая фигурка, почти занесенная снегом, как и несколько часов назад была на месте. «Сколько же времени прошло, так и замерзнуть недолго», — подумал я и, подойдя поближе, увидел пожилую женщину в долгополом старомодном пальто и подшитых валенках. Черная, с кистями шаль сползла ей на плечи, и снег медленно таял на волосах, почти сливаясь с сединой.

«Должно быть, мать или жена покойного. Ничего не замечает вокруг, даже холода не чувствует... Надо как-то вывести ее из этого состояния...»

— Послушайте, — осторожно коснулся я плеча женщины, застывшей над могилой, заставленной жестяными венками. Они чуть проступали сквозь снег. — Уже поздно. Скоро стемнеет. Вам надо домой...

Женщина провела по мне пустым отсутствующим взглядом и ничего не ответила.

— Уже темнеет, — повторил я, — идите домой.

— Домой? Зачем?.. Оставьте меня, я хочу побыть одна.

Удивительно знакомый голос заставил меня пристальнее вглядеться в лицо женщины.

— Наиля-апай?! [1]

Услышав свое имя, она вздрогнула, будто очнувшись, и теперь смотрела на меня уже не отрешенно, а вполне осмысленно, по-видимому напрягая память.

— Гафар, дорогой!.. — нетвердо шагнув навстречу, она уронила голову мне на грудь, сотрясаясь в беззвучных рыданиях.

— Это он? — кивнул я на холмик.

— Он...

И в воображении моем тотчас возник живой Акрамагай [2] Амантаев, точно мы виделись с ним только вчера,

[1] Уважительное обращение к старшей по возрасту женщине.
[2] Уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине.



2

На второй год войны дела в нашей школе пошли совсем плохо. И хотя она по-прежнему называлась довольно громко — неполная средняя, — учеников в ней осталось немного, особенно старшеклассников. Часть ребят была вынуждена бросить учебу и начать работать в колхозе, чтобы помочь семье. Кое-кто подался в город и поступил в ФЗО или ремесленное училище. Лишь шестеро, в числе которых был и я, несмотря ни на что, упорно ходили в седьмой класс.

На уроках мы тщетно пытались хоть немного согреть дыханием закоченевшие пальцы и растопить замерзшие в чернильницах чернила. От холода не спасали ни завязанные под подбородком ушанки, ни пуховые материнские платки, в которые кутались девочки. Временами то под одной, то под другой партой выбивали дробь задубевшие лапти, и это не считалось нарушением дисциплины. Да и сами учителя уже не так строго придерживались довоенных правил, надевали на себя не то, что получше, а то, что потеплее, и даже в классе ходили с поднятыми воротниками пальто.

Впрочем, учителей у нас тоже осталось немного. Учителя-мужчины еще в первый год войны ушли на фронт. Вместо них прислали вчерашних десятиклассников из райцентра. Но и они часто менялись. К зиме школу тянули лишь пятеро. Две пожилые учительницы, окончившие когда-то педтехникум, вели начальные классы, а пятые — седьмые — две молоденькие девчушки, одна из которых десятиклассница, а другая — девятиклассница. Пятой была директор школы — Наиля-апай, самая образованная — она перешла на второй курс педагогического института.

Наиля-апай приехала в наше село из какой-то дальней-дальней, даже дальше райцентра, деревни и сразу понравилась мне — такая она приветливая и красивая! Стоит ей войти в класс, как я сразу забываю обо всем плохом. Мне даже кажется, будто с ее появлением в классной комнате становится теплее.

Только вот с директорской работой у Наили-апай не ладилось. И не потому, что характер у нее был слишком мягкий для такой должности. Дом, который занимала наша школа, когда-то красивый и крепкий, уже порядком обветшал: двери рассохлись и покривились, прогнили оконные

рамы, печи дымили и почти перестали греть. Дров летом удалось заготовить совсем мало.

Не лучше было с учебниками и тетрадями. Из-за нехватки учителей некоторые предметы не преподавались вовсе, да и те, которые мы все-таки изучали, усваивались плохо, потому что голодные ученики все время думали о еде.

В деревне все понимали, что молодая и неопытная Наиля-апай взвалила на себя непосильный груз. Да и сама она, видимо сознавая, что помощи ждать неоткуда, приходила в отчаяние. Пятиклассница Шарифа, вездесущая девчонка, живущая по соседству, уже успела шепнуть мне, что видела, как Наиля-апай плакала в укромном месте. Вообще в науках Шарифа обычно плавала, а на такое глаз у нее был острый.

Я очень жалел Наилю-апай и старался хоть чем-нибудь ей помочь. Под любым предлогом прибегал к нашей соседке Магузе, одинокой солдатке, у которой она поселилась, чтобы наколоть дров или расчистить от снега двор. Да и в школе не нарушал дисциплины и добросовестно выполнял все поручения, желая понравиться директору. И если она обращалась ко мне на уроках не по фамилии, а по имени: «Гафар!», я был на седьмом небе.

Нет, я не преувеличиваю: ради Наили-апай мне хотелось совершать подвиги, идти в огонь и в воду. Но ей-то нужен был не герой, а толковый помощник в школьных делах.

Если бы я был ее ровесником! Или она была бы младше меня, как, например, Шарифа. Нет, все же лучше ровесником... Тогда бы я мог взять на себя ее заботы, утешить ее. А так — что я могу сделать? Мне не под силу даже спустить с высокого крыльца Магузы-апай косоглазого Хамея, хотя я давно мечтаю об этом.

Секретарем сельсовета Хамей стал уже во время войны, воспользовавшись тем, что председательствовал там в это время его дядя, старый, болезненный человек, — других мужчин в селе не осталось, все были на фронте.

Хамея не уважали в деревне, да и просто не любили, а девушки даже в открытую называли «косоглазый». Вообще у нас никогда не смеялись над природными изъянами и уж тем более — над увечьями, полученными на войне. Но здесь был особый случай: поговаривали, что косоглазие Хамея связано с его темным прошлым.

Все больше Хамей, не ограничиваясь секретарскими обязанностями, решал от имени дяди и скоро стал распоряжаться почти всеми делами в селе.

После того как Наиля-апай поселилась у солдатки Магузы, косоглазый Хамей зачастил туда. Навеселе, да еще и с бутылкой за пазухой, он ломился в дом даже в позднее время, забыв о приличии.

Как говорила Магуза-апай, Хамей сулил ее постоялице золотые горы, обещал хоть сегодня сделать все, что нужно, для школы, лишь бы Наиля уступила ему.

Я и раньше терпеть его не мог, а после этого он стал моим кровным врагом. Сколько раз я давал себе слово, что подкараулю и спущу его с крыльца Магузы-апай. Однажды я даже спрятался за дверью чулана, поджидая, когда он выйдет из дома, но так и не отважился на этот шаг, оставив свои намерения до следующего раза.

Наиля-апай даже слушать Хамея не желала и всячески старалась избегать его. Однако это не останавливало самоуверенного «ухажера».

— Хаматдин, братец ты мой, ты думаешь, что творишь? — пробовала увещевать его по-хорошему Магуза-апай. — Ведь у тебя жена, дети... Стыдно, ей богу...

— Разведусь я с этой ведьмой... Не люблю... — отвечал не моргнув косоглазый.

— Не к лицу вам говорить такие слова, Хаматдин Хаматнурович, — не выдержав, обращалась к Хамею по имени отчеству Наиля-апай. — Вы же — секретарь сельсовета!

— Погодите, — шептал я, сжигаемый ненавистью, сидя в укрытии. — Этот Хаматнурович вот-вот вспашет носом лед у крыльца...

— Иди, иди домой, черт беспутный, — выпроваживала его за порог потерявшая терпение Магуза-апай. Он проходил мимо меня по скрипучему крыльцу, и я почему-то опять откладывал свою месть.

Но молчаливое терпение и мягкосердечие женщин неожиданно обернулось против них самих. В один из вечеров, когда Наиля-апай в своей комнатке при свете семилинейной лампы проверяла тетради, в дом влетела разъяренная жена Хамея. Ища мужа, не постеснялась заглянуть под кровать и за печку. Но самым ужасным было то, что она кричала нашему директору:

— Приехала не знаю откуда развращать чужих мужей...

Наиля-апай в бессилии только плакала, не зная, чем ответить на такое оскорбление. Она не могла опуститься до того, чтобы тоже кричать и оправдываться, доказывая свою невиновность. Но как жить дальше, ведь завтра ей идти в школу, к детям, ведь завтра ей, агитатору, идти по домам —

в деревне нет секретов — и скоро о визите жены Хамея будет знать все село.

«Зато мне можно, — думал я. — Я не директор и не агитатор». И поклялся себе: если и теперь этот тип явится сюда, то уж наверняка хорошо «прокатится»...

Но отомстить бесстыжему Хамею, который, несмотря на скандал, снова появился во дворе у нашей соседки, мне и на этот раз не удалось. Магуза-апай и моя мать опередили меня, с треском выгнав косоглазого за ворота, и мне еще долго не давало покоя сознание, что это сделал не я.

С того дня Хамей перестал преследовать Наилю-апай, но это не значило, что он забыл о ней. Затаив злобу, он решил по-своему рассчитаться с ней. Тянул с ремонтом школы, без конца откладывал сроки. Не завез и половины обещанных дров, а школьной лошади не выделил ни грамма овса и сена. И однажды собственной персоной явился на школьный двор, чего давно не было, и с руганью: «Морите лошадь голодом, под суд вас надо!» — увел бедную животину. Желание всячески досадить нашему директору не давало ему покоя.

3

...В один из морозных зимних дней к нам в деревню прибыл из райцентра незнакомый военный и прямиком направился в школу. И хотя погон на нем не было, мы сразу поняли по шинели, что это не простой солдат, а командир.

Приезжий недолго оставался для нас загадкой. Уже на следующий урок сияющая Наиля-апай пришла вместе с ним и сказала:

— Знакомьтесь, ребята, ваш новый учитель Акрам Сагитович Амантаев. Будет вести уроки военного дела. Он был отважным командиром на передовой...

Амантаев слегка поморщился при последних ее словах и изобразил на лице что-то наподобие улыбки: мы поняли, что ему не понравилась открытая похвала директора.

Конечно же Наиля-апай немного преувеличила, зная, что нам только и подавай храброго командира. А мы, как бы ни разыгрывалось наше воображение, не могли представить в этой роли желтолицего, невероятно худого, с острыми плечами человека и смотрели на него с недоверием.

Приезжий неожиданно ловким движением сбросил с себя шинель, откинул назад прядь густых русых волос и поправил широкий ремень. Новая диагоналевая гимнастерка, будто снятая с чужого плеча, еще сильнее подчеркивала его

худобу. «Интересно, — думал я, разглядывая военрука, — а где же его ордена и медали? Какой же он тогда отважный командир, если у него нет никаких наград?..»

— Сегодня я к уроку не готов, — виновато, как будто через силу, улыбнулся наш новый учитель.

Он мог бы и не объявлять об этом — мы и сами знали, что он только что приехал из района и даже еще не успел устроиться на квартиру. Да и дорога, конечно, утомила его, по всей видимости очень нездорового человека. Наверное, он еще не оправился после тяжелого ранения — иначе вряд ли его отправили бы в тыл в такое время. Но почему же у него нет орденов и даже медалей?

Все ждали, что дальше военрук скажет: «Можете идти домой», и уже приготовились сорваться со своих мест. Если учителя отпускали нас пораньше, это было настоящим праздником. Во-первых, нам очень хотелось есть — сытости от картошки и морковного чая хватало ненадолго. А во-вторых, по дороге, мчась вприпрыжку, мы наконец согревались. Да и вся мужская работа по дому лежала тогда на нас, мальчишках.

Но Амантаев, обращаясь к директору, неожиданно предложил:

— Может, расскажу ребятам о сегодняшнем положении на фронте? — И, оглядев нас, добавил: — Только их что-то слишком мало...

— Хорошо, Акрам... — По голосу Наили-апай чувствовалось, что она очень довольна. — Мы пригласим сейчас все старшие классы. Наверное, и карта понадобиться? Гафар, пожалуйста, принеси карту.

У Наили-апай такая привычка: даже если в классе есть дежурный, с каким-нибудь поручением она чаще обращается ко мне. А мне только того и надо. Вот и сейчас я как на крыльях лечу в учительскую, и лишь одно удивляет меня: с чего это директор обратилась к прибывшему военруку точно к брату, по имени, а не по имени-отчеству, как ко всем остальным учителям?

Пока я отыскивал в учительской большую, изрядно потрепанную карту Европы, у нас собрались пятый и шестой классы. Директор и остальные учительницы разместились на задних партах и тоже приготовились слушать.

В это время вся страна ежечасно ждала новостей с фронта, жила ими. К нам же в деревню газеты из Уфы приходили с опозданием на целую неделю, и, конечно, все сообщения за этот срок устаревали. Один-единственный при-

емник в сельсовете уже второй год молчит, а отремонтировать его некому. Поэтому и учителя, и ученики с нетерпением ждали, что скажет новый преподаватель-фронтовик, только прибывший из райцентра, где последние известия можно услышать прямо на улице из громкоговорителя

— ...Верховное командование Красной Армии расширило фронт наступления. В среднем течении Дона был нанесен удар по тылу фашистской группировки... — Акрам Сагитович повернулся к карте. — Советские войска Юго-Западного и Воронежского фронтов уничтожили оборону противника и дали возможность нашим танковым корпусам двинуться через этот широкий прорыв... — Голос его набрал силу, окреп. — А теперь давайте представим, что мы на фронте и начинается атака. — Военрук обвел глазами ряды учеников. — Взлетают наши штурмовики...

...И мы будто услышали над головой вой сотен бомбардировщиков, грохот дальнобойной артиллерии. Затем, сотрясая землю, двинулись вперед танки... Наконец настало время героической пехоты.

Что-то произошло с нами: Амантаев говорил, а мы, словно в клубе во время кинокартины, видели перед собой живые сцены сражения, вместе с пехотинцами бросались в атаку. Рассказ учителя настолько захватил нас, что двое мальчишек из пятого класса вскочили и закричали «ура!».

Их голоса вернули нас к действительности, и все засмеялись. Двое смельчаков не знали, куда деться от смущения, и, чтобы выручить пятиклассников, Акрам Сагитович сказал:

— А знаете ли вы, что даже на оккупированной фашистами территории дети тайком продолжают учиться?

Смех мгновенно стих. И мы затаив дыхание стали слушать нового учителя.

* * *

...— Было это после затяжного боя. Мы ворвались в деревню Михайловку. Возле бывшей колхозной конторы и школы завязалась отчаянная перестрелка. Немцев побили изрядно, но и наших полегло немало. Помогая санитарам, мы тут же перенесли раненых в помещение школы и уложили их на плащ-палатках прямо на полу. Пол этот поразил нас своей чистотой. Казалось невероятным, что среди такого жуткого хаоса и разорения кто-то поддерживал в школе порядок. И хотя стекла во многих окнах были выбиты и по классам гулял сырой осенний ветер, ощущения бесприют-

ности и заброшенности не возникало. А когда в одной классной комнате мы прочитали на доске: «Смерть фашистским оккупантам!», то поняли, что местные ребята не просто продолжали учиться, но и вели борьбу с врагом прямо в его логове. В одной из парт наш солдат обнаружил необычную самоделку — что-то среднее между книгой и тетрадью. Из отдельных, наклеенных на тетрадные листочки букв были сложены слова, а из слов составлены предложения. По сути, вся тетрадь представляла собой листовку: первая ее страница призывала беспощадно уничтожать фашистов и их оружие, вторая — объединять усилия и действовать сообща, а третья была свидетельством твердой веры в победу Красной Армии. Кто-то прочел вслух: «...Этот день придет, но чтобы приблизить его, нельзя сидеть сложа руки!..» Сколько же усилий, терпения и времени, а главное, смелости требовала от ребят эта кропотливая работа, ведь они постоянно рисковали!

Но самой поразительной была моя находка — точно такая же книга-тетрадь, только составленная уже из немецких букв! Ребята вырезали их из фашистских листовок и клеили свои листовки, поворачивая против врага его же оружие...

В это время санитары внесли раненого старика — оказалось, школьного сторожа. Даже после прихода немцев он так и жил при школе. Когда мы ворвались в село, старик, не думая об опасности, прямо под пулями радостно бросился нам навстречу.

Теперь, лежа среди раненых бойцов, дед рассказывал нам, что ребята, как и он, не смогли бросить школу и накануне учебного года собрались в классах. Учителей к тому времени в селе не осталось: некоторые успели эвакуироваться, большинство же ушло в партизаны. Но первого сентября, не выдержав, в деревню из леса пришел директор школы. Он надеялся незаметно встретиться с учениками, но тут же был схвачен немцами. Опасаясь, как бы разъяренные фрицы не отыгрались на детях, директор не сопротивлялся.

— Партизан? — кричал фашист, приставив автомат к его груди.

— Найн, — ответил директор.

— Коммунист?

— Я — учитель, — спокойно сказал директор. — Дети должны учиться.

Его расстреляли тут же, в школьном саду...

...Военрук говорил сухо и скупо и даже не меняя интона-

ции. И выглядел по-прежнему каким-то удрученным, словно и родился с горестным выражением на лице. Но, несмотря на это, все наше внимание было приковано к нему. Мы забыли о том, что холодно в классе, и думали лишь о погибшем директоре и своих сверстниках, живущих на оккупированной фашистами земле.

— В этот день немцы разогнали ребят. Но заставить их отсиживаться по домам им все же не удалось. Когда в деревне остались одни полицаи, мальчишки и девчонки снова стали тайком собираться в школе. Они создали подпольную организацию, чтобы помогать партизанам поддерживать связь с селом.

Вырезая буквы из сохранившихся среди хлама старых газет, «печатали» книги. Ведь настоящих книг и учебников ни у кого не осталось — после обыска их сожгли полицаи. Эти фашистские прихвостни и не подозревали, что под носом у них действуют юные мстители, и только когда Седьмого ноября над школой взвился красный флаг, забили тревогу. Один из них в ярости полез на крышу, но тут же был сражен выстрелом. Решив, что стрелял кто-то из партизан, устроивших засаду, на крышу они больше не сунулись. Флаг над деревней развевался до тех пор, пока в нее не наехали разместившиеся в соседнем селе немцы. Но и они задержались не надолго: оставаться в селе рядом с лесом, где хозяйничали партизаны, было опасно. Одно слово «партизан» приводило гитлеровцев в ужас. И школа вновь стала штабом юных подпольщиков.

— Как только мы заняли деревню, — продолжал военрук, — все, кто еще остался в ней, и, конечно, в первую очередь ребята, выбегали из домов навстречу к нам, обнимали. Кое-кто из наших бойцов и на войне не расставался с любимой книгой, и все книги сколько их было, мы подарили бесстрашным школьникам, чтобы те, пока у них нет учебников, могли по ним учиться. А ротный старшина вручил ребятам раздобытый им где-то кусок кумача — на галстуки.

4

...Рассказ военрука потряс нас: мы сидели неподвижно и молчали. Вот, оказывается, какие смелые есть ребята! Рискуя жизнью, ходили в школу, чтобы сообща бороться с оккупантами, были связными у партизан! А мы?.. Некоторые бросили учиться лишь из-за того, что в школе холодно. Нет, мы тоже должны совершить что-то героическое. Только что?

— Спасибо, Акрам Сагитович, на сегодня достаточно, — поднялась из-за парты Наиля-апай. Но ученики сразу зашумели:

— Агай, расскажите еще!

— Еще!..

— Нет, ребята, довольно, — усмиряла нас директор. — Ваш учитель только с дороги, устал. Да и вам пора домой.

Тогда военрук смущенно посмотрел на Наилю-апай и неуверенно спросил:

— В конце урока, кажется, дают задание на дом?

Молодые учительницы на задних партах согласно закивали, как будто подсказывая ему, а мы переглянулись: нам стало окончательно ясно, что наш военрук в школе впервые.

— ...Следующее занятие мы проведем с вами в лесу, — сказал Акрам Сагитович. — Оно будет называться «Партизанская война». Мальчикам дома надо сделать деревянные винтовки и пулеметы и захватить с собой санки и топоры...

— Вот это да! — обрадованно загалдели мы. — Настоящая военная игра! — Все наши мальчишки и девчонки отчаянно желали стать защитниками Родины и готовились к этому.

По дороге домой мы с Шарифой то и дело соскальзываем с узенькой тропинки и проваливаемся в сугроб. Она хоть и младше на два класса, но все время липнет ко мне, точно мы ровесники.

— Знаешь, Гафар, — с гордостью говорит она, оборачиваясь, — новый учитель будет жить у нас. Мне Наиля-апай сейчас сказала, что его, наверное, к нам поставят.

Что же тут удивляться: в деревне учителя — самые почитаемые люди, и размещают их тоже у самых уважаемых жителей, по лучшим домам.

Шарифа щебечет что-то еще, но мне уже не до нее. Я невольно прислушиваюсь к голосам за спиной. Наиля-апай и наш новый учитель?.. Я знаю, что это нехорошо, но все время оглядываюсь. Они идут по тропинке рядом и, поскольку она узкая, то и дело, как и мы с Шарифой, срываются в сугроб — и от этого заразительно и совсем не по-взрослому хохочут. «Скажите пожалуйста, рядом с Наилей-апай он даже развеселился, — почему-то злюсь я, чувствуя, как во мне вскипает что-то похожее на ревность. — Неужели они ровесники? Нет, пожалуй, военрук намного старше... К тому же он раненый и некрасивый. А Наиля-апай красавица!»

Шарифа, дернув меня за рукав, прерывает мои мысли:

— Гафар, приходи к нам после обеда?

«Вот еще, — думаю я. — Что мне, делать больше нечего?..»

Но Шарифа не отстает:

— Если ты сможешь, то попилим дрова. А то вдруг еще Амантаев-агай надумает... А ему ведь нельзя, он ранен...

Было видно, что новый учитель Шарифе сразу понравился. Ну а что делать, если я еще не понял, нравится он мне или нет? И все-таки помогать я приду.

Стараясь не ударить в грязь лицом перед девчонкой и их постояльцем, моим новым учителем, я орудовал топором так, что сам удивился, откуда взялось столько сил. Перед сараем выросла целая гора наколотых дров.

К вечеру в дом Шарифы потянулись соседки: под любым предлогом женщины хотели хоть краем глаза увидеть фронтовика, а если хватит смелости, то и спросить о своих. Фронт, понятно, велик, но вдруг да воевал он под Н-ском, откуда пришло письмо от мужа или сына... И гостинец раненому передать надо, чтоб сил набирался. У нас вообще такой обычай — с пустыми руками ни к кому в дом не ходят, а уж если в этом доме приезжий, да еще военный, тут уж и говорить нечего.

Моя мать в нерешительности долго стояла у окна, а потом не выдержала и тоже пошла, прихватив с собой головку корота. Я знаю, как и все солдатки, где-нибудь за печкой, на кухне, она затеет с матерью Шарифы разговор о каких-нибудь не имеющих отношения к делу вещах, а сама будет прислушиваться к шагам за перегородкой: не выйдет ли квартирант. Потом в конце концов вздохнет:

— Узнать бы, не видел ли он где моих...

Это о моем отце и старшем брате. Мать понимает, что хочет услышать от Амантаева почти невозможное. И все же в ней теплится надежда. Да и как жить без надежды?

На следующий день я, как обычно, пришел в школу пораньше: вдруг Наиле-апай перед уроком понадобится какая-нибудь помощь. Но, оказывается, Шарифа опередила меня. Ей ужасно не терпелось сообщить мне последние новости, и, забежав к нам в класс, она выпалила с ходу:

— Знаешь, Гафар, Амантаев-агай тяжело ранен... Его прошила автоматная очередь. Он так мучается! На людях

крепится, а ночью стонал, вскрикивал, рвался в атаку... Утром поднялся весь в поту.

Я тоже сразу расстроился из-за нового учителя: а вдруг он израсходует на нас последние силы и умрет?

А неугомонная Шарифа продолжала:

— Если хочешь знать, Наиля-апай и Акрам-агай из одной деревни, вот! — Она была очень довольна. — И дружат с детства, как мы с тобой...

«Надо же, придумала: как мы с тобой! Только с тобой и осталось дружить!» — усмехнулся я про себя. Теперь мне было ясно, почему Амантаев появился в нашем селе. Наверное, сразу после госпиталя он разыскал Наилю-апай и приехал, раз они старые друзья. Настроение у меня совсем испортилось, и липучка Шарифа сразу заметила это:

— Ты, Гафар, не переживай из-за Наили-апай. Из-за взрослых девушек мальчики не должны переживать. Она ведь намного старше тебя, — с обидой сказала она и выбежала из класса.

5

...Уговорить Наилю-апай идти домой мне стоило больших трудов. Пасмурный день угас незаметно, и, когда мы вышли за ворота кладбища, было почти темно.

Даже на своей улице, уже выйдя из автобуса, она явно медлила. Каждый шаг, приближавший ее к дому, видно, был для нее трудным. Я понимал измученную горем женщину: ей не хотелось в дом, где каждая вещь будет болью напоминать о муже.

Медленно поднялись на третий этаж. Остановившись на площадке, Наиля-апай тихо произнесла:

— Спасибо тебе, Гафар... Иди домой. Ты и так уже потерял из-за меня столько времени.

Она не успела договорить, как распахнулась дверь, и я увидел дочь Наили-апай и зятя.

— Мама! Где ты была так долго?! Я уже вся извелась, — с укором воскликнула заплаканная женщина и, посмотрев на меня, пригласила: — Входите, пожалуйста. Вы, наверное, мамин ученик? — догадалась она.

Мы помогли Наиле-апай снять пальто и, проводив в комнату, усадили ее в кресло. Рядом на столике стояла увеличенная фотография Акрама-агай, окаймленная черной лентой.

Я долго вглядывался в это лицо, такое знакомое и в то же время чужое. В моей памяти Акрам-агай остался моло-

дым, а снимок запечатлел седоволосого старика с болезненным лицом, испещренным морщинами. Впрочем, чего же я хочу, ведь прошло уже тридцать с лишним лет, и я уже далеко не молод, а Акрам-агай и тогда выглядел старше, чем был. Мне тогда все не верилось, что они с Наилей-апай ровесники. Тяжелое ранение сделало свое.

Включив настольную лампу, Наиля-апай пододвинула фотографию поближе к себе и горько произнесла:

— Здравствуй, Акрам, вот мы и снова вместе...

Дочь с болью взглянула на нее и, подойдя сзади, осторожно обняла за плечи:

— Не надо, мама... — Потом, повернувшись ко мне, виновато проговорила: — Может, вы побудете с мамой?.. А мы с мужем делами займемся, завтра ведь девятый день, надо все приготовить.

Я охотно согласился, спросив разрешения позвонить домой.

— ...Только не жалей меня, Гафар, не успокаивай, — сказала Наиля-апай, когда я, поговорив по телефону с женой, вернулся в комнату. — Он до конца моих дней будет рядом. Мы ведь с ним вместе с малых лет... — И она начала рассказывать.

В деревне росла длинноногая, с носом-пуговкой девчонка. Задира была ужасная. То на забор заберется, то повиснет на воротах и качается туда-сюда, дразня мальчишек:

Бахау, Бахау,
Курносый нос!
Асхат, Асхат,
Прокисшее молоко!..

Убегая от пацанов, которые не прочь были дать ей тумака, она частенько падала, обдирая коленки и локти, и потому вечно ходила в ссадинах. Впрочем, доставалось ей редко — у нее был защитник, четвероклассник Акрам. Стоило ему спокойно, без всякой угрозы, сказать: «Не трогайте ее», как уличные петухи тут же расходились. Курносая девчонка с видом победительницы смотрела на них, но не унималась и, спрятавшись за спину своего защитника, принималась дразнить снова.

Но Акрам не всегда поспевал вовремя, и тогда мальчишкам удавалось угостить ее подзатыльником. Она визжала на всю улицу, но не плакала.

— Сама виновата, — выговаривал ей неизвестно откуда

появлявшийся Акрам. — Не буду больше защищать тебя.

— Ну и не надо! Я им сама задам! — кричала обиженно девчонка, забегая к себе во двор. И тут же, повиснув на калитке, начинала дразнить уже своего защитника: «Акрам, Акрам!.. Кричит как козел!.. Ха-ха-ха!..»

Вот и пойми эту забияку!

Случалось, и самому Акраму из-за нее перепадало от ребят постарше, потому что несносная девчонка дразнила всех мальчишек без разбора, невзирая на возраст.

Но Акрам необидчив: что тут поделаешь, если такая родилась, — терпит. Вот уже, изображая Чапая, он снова с шашкой мчится вниз по улице, и вся ватага с криками «ура!» устремляется за ним.

Как-то незаметно пролетело время игр в чапаевцев. Акрам уже стал выходить на улицу села с гармонью, и подростки единодушно признали его своим вожаком.

— Помню, весной, в половодье, смастерил Акрам плот, — продолжала Наиля-апай. — И я улучив момент, когда он не видел, потихоньку забралась на этот плот и легонько оттолкнулась шестом, чтобы его позлить. Неожиданно плот отошел от берега, я растерялась, и его понесло по течению. Акрам, перепуганный, бежал по берегу и кричал: «Направляй к берегу!.. К берегу!..»

Но плот не слушался меня — его постепенно выносило на самую стремнину. И Акрам, не раздумывая, бросился в ледяную воду. Боже мой, какая же я была дурочка! Ведь он тогда мог заболеть и умереть из-за меня! Может быть, он и жил дольше, если бы не мои глупости...

Мы продолжали дружить уже будучи комсомольцами. Акрам возглавлял нашу комсомольскую организацию, и я очень гордилась этим. Он с увлечением, много читал: и художественную литературу, и специальные книги по электротехнике, и мечтал построить на нашей речке гидроэлектростанцию. Некоторые ребята не верили в это и только посмеивались. А я верила. Оказалось, что гидроэлектростанция — дело непростое, а вот небольшой электродвигатель Акрам с друзьями все же построили. Его мощности хватило даже на то, чтобы крутить в клубе кино.

Потом Акрам уехал в город, учиться. Окончив энергетический техникум, вернулся в родное село. И только теперь мы поняли, что наша дружба переросла в нечто большое, но ни один из нас не нашел нужных слов, чтобы признаться в своем чувстве. И даже когда Акрам уходил в армию, мы постеснялись проститься на виду у всех.

6

...На лыжах впереди всех идет наш военрук. За ним, пыхтя и сопя, тянется отряд «красноармейцев» с «обозом» из тридцати салазок.

— Подтянись! — кричит нам учитель и, когда мы кольцом обступаем его, разъясняет обстановку:

— Наши части вынуждены временно оставить деревню Н., а ее жители, чтобы вести борьбу против фашистов, уходят в лес, в партизаны. Итак, партизанский отряд начинает действовать...

Это игра, но слова военрука заставляют нас забыть о морозе и пронизывающем ветре, нам хочется поскорее взять сложенное на санках «оружие» и начать действия против «врага». По сугробам мы карабкаемся на холм, и командир отряда сверху осматривает окрестности в полевой бинокль.

— Акрам-агай, дайте и мне, — не утерпев, просит кто-то из мальчишек.

— И мне... И мне! — раздаются голоса, хотя все мы прекрасно знаем эти места. Да и военрук наш тоже уже побывал здесь вчера — мы с Шарифой показывали ему дорогу.

— Вот на этой высоте и закрепимся, — говорит Амантаев. — Наступление «врага» ожидается со стороны деревни и со стороны железнодорожной станции. Но нельзя забывать о флангах и тыле. Отряд должен занять круговую оборону...

Командир расставляет в четырех местах караульные посты, и мы с радостью принимаемся за дело. Нам жарко — все согрелись, пока осваивали «партизанские» тропы, а тут еще надо валить сухостой и таскать его для строительства пулеметных точек.

Вырыв в снегу глубокие окопы, мы по очереди «ходим в разведку»: атака «противника» может начаться с минуты на минуту.

И вот уже «строчат» деревянные пулеметы и автоматы, летят вниз, к подножию холма, «гранаты». «Партизанский отряд» отважно держит оборону, а потом бросается в контратаку. Высота остается за нами!

— Главная наша задача, — обращается командир к отряду, — начать большое наступление и освободить деревню Н.

Быстро разобрав сложенные из сухостоя пулеметные

точки и погрузив на санки, мы лихо припускаемся под гору, в сторону села.

...Уже темнело, когда отряд с криками «ура!» ворвался в деревню. Около школы «партизан» встретила Наиля-апай. Она с укором посмотрела на нашего командира:

— А я уже хотела идти искать вас. Думала, не заночуют ли «партизаны» в лесу... — И лукаво улыбнулась: — Или вас уничтожил враг?

— Нет! — вразнобой закричали порядком уставшие ребята. — Мы сами разбили врага.

— Вот молодцы! Только смотрите не заболейте. Намерзлись, наверное?

— Нет, — уверенно ответил за нас военрук. — Они не заболеют. И в классах завтра будет тепло.

Еще бы! Ведь мы на своих тридцати салазках привезли для школы дрова!

7

Кроме военного дела Акрам Сагитович Амантаев стал вести у нас химию и физику. Прежде чем решиться на это, он долго сопротивлялся уговорам директора:

— У меня же нет педагогических навыков, ведь я не учился ни в пединституте, ни в училище.

— Зато ты закончил энергетический техникум, — настаивала Наиля-апай.

Не знаю, отвечали ли те амантаевские уроки существующим педагогическим требованиям, но они были очень интересными. Учитель наш знал массу вещей, о которых мы прежде и понятия не имели. Согласившись вести химию и физику, он буквально перекопал содержимое шкафов в учительской, возился в школьной мастерской, отыскивая и собирая приборы для проведения опытов, и радовался каждой находке.

Я постоянно крутился возле него, помогал очищать от пыли приборы. Акрам-агай что-то подкручивал, чинил, обновлял.

— Какое богатство пылилось столько времени! — качал он головой. — Вот приведем все в порядок — и можно будет проводить разные опыты.

Теперь физика и химия стали нашими любимыми предметами. Невероятные превращения одного соединения в другое, действия магнитных полей, электрических заря-



дов — все можно было проверить на опытах. Они помогали нам постигать сложные законы физики и химии, заставляли забывать о перемене. Видя наш интерес, и сам Акрам-агай как будто воодушевлялся — восковое лицо его иногда освещалось улыбкой.

Кто-то из учеников обнаружил в школьном сарае среди хлама еще не вышедший из строя аккумулятор, и семиклассники под руководством Акрама-агай смастерили электрический звонок, который целую неделю, пока хватало питания, возвещал о начале и окончании уроков.

Впечатлений от занятий, которые вел наш новый преподаватель, хватало на целый день. Мы обсуждали их и после уроков, на улице, и, может, поэтому в школу вскоре потянулись и те, кто еще с осени бросил учиться. Во всяком случае, ребят в классах заметно прибавилось, и это очень радовало Наилю-апай.

Только привезенных нами дров хватило не надолго. В школе опять стало холодно. Мы снова сидели в рукавицах, стучали под партами ногами, пыхтели, как паровозы, над чернильницами.

— Акрам-агай, давайте поиграем в партизан и дров заодно привезем, — предложил кто-то.

— Много ли увезешь на салазках... Да вы и без того устаете с дровами дома. Нет, ребята, это не выход... Попробуем найти другой... — он задумался.

Сразу после уроков Наиля-апай и Акрам-агай направились в сельсовет. Нетрудно было представить, как встретит их косоглазый Хамей, и я, недолго думая, увязался за ними: а вдруг понадобиться моя помощь, ведь военрук наш сильно нездоров.

Хамей конечно же еще из окна увидел Наилю-апай и нового учителя и сразу напустил на себя вид очень занятого человека: насупил брови и уткнулся в бумаги. На приветствие ответил лишь едва заметным кивком и даже не взглянул в нашу сторону.

Видя, что Хамей и не думает обращать на них внимание, Наиля-апай начала разговор сама:

— Хаматдин Хаматнурович, мы пришли к вам по важному делу.

— Какому еще важному? — поднял он наконец голову, принимая еще более неприступный вид. — У меня и без вас дел по горло — и все важные!

— Сначала вот познакомьтесь с нашим новым учителем, — продолжала Наиля-апай. — Амантаев Ак...

— Знаком, уже знаком! — прервал ее Хамей. — Нам уже сообщили о его приезде из соответствующих инстанций... — многозначительно добавил он. — Ладно, об этом после... Ну, выкладывайте, зачем пришли, — тон его был по-прежнему нарочито пренебрежительным.

«Если он будет так разговаривать, то и нам нечего церемониться», — подумал я, и Акрам-агай словно услышал меня:

— В школе не сделан ремонт, нет дров. Если ничего не можете сделать, верните нам хотя бы школьную лошадь, — сказал он жестко.

От удивления Хамей даже приподнялся со стула — он не ожидал такого от этого худого, измученного нездоровьем человека:

— Кто ты такой, чтобы требовать у меня лошадь?..

— Я учитель.

— Не лезь не в свое дело... На это есть директор.

— Это и его дело, — вмешалась Наиля-апай, она еще надеялась уладить дело миром. — Товарищ Амантаев — учитель и к тому же единственный мужчина в школе, на нем все наше хозяйство. — Она говорила решительно и твердо, видимо, присутствие Амантаева прибавило ей смелости. — Отдайте нам лошадь сегодня же.

— На директоре должно держаться школьное хозяйство, а не на учителе... Лошадь... Чтобы вы ее с голоду уморили? — кривя губы, сказала Хамей.

— А вы и корма нам выдадите на нее, как положено, — не отступал Амантаев. — Ведь они у вас остались.

У Хамея, которому уже давно никто в деревне не смел перечить, от гнева даже побагровела шея и на ней вздулись жилы.

— Нашелся еще командир, приказывать мне!.. Не очень-то выступай, ты — штрафник и у нас на учете. Думаешь, приехал в глушь, так тут никто не знает. Учеников ему еще доверили... Будешь слишком шустрый, сообщу куда следует!..

У Акрама-агай задрожали губы, кровь прилила к бледному лицу — я даже удивился, откуда у него взялось столько крови. Не в силах больше сдерживаться, сжав кулаки, он двинулся на Хамея. На него было страшно смотреть: казалось, еще минута — и руки его вцепятся в горло секретаря сельсовета. Хамей, потеряв дар речи, испуганно пятился к стене.

— Акрам! Что ты делаешь! Успокойся! — Наиля-апай

кинулась к Акраму-агай и схватила его за плечи. Я удивленно смотрел на нее. Она и не заметила, что назвала нашего нового учителя, да еще при посторонних, не по имени-отчеству, а просто Акрам — как меня.

Вспышка Акрама-агай так и не нашла выхода, он только стукнул сжатыми кулаками по столу и, еще не остыв, глухо, сквозь зубы, произнес:

— Дай лошадь, если жизнь тебе дорога...

Потом, немного успокоившись, он, видимо, жалел, что не сдержался: это было видно по тому, как весь он разом потух и сник. Потирая одной рукой лоб, другой держался за грудь и тихо покашливал.

Встревоженная не на шутку Наиля-апай положила руку ему на плечо и мягко укоряла:

— Ну что ты, Акрам... Тебе же нельзя так волноваться!

И, уже обращаясь к секретарю сельсовета, виновато проговорила:

— Вы его извините, Хаматдин Хаматнурович. Он, раненный, погорячился...

Тон Наили-апай вернул Хамею прежнюю уверенность:

— Снюхались — директор школы с подчиненным — моральное разложение... Теперь тем более надо сообщить куда следует. Это же нападение на государственного служащего при исполнении обязанностей. Тебя накажут, как положено по законам военного времени! — выкрикивал Хамей, вновь чувствуя себя хозяином положения.

Акрам-агай выпрямился и уже спокойно, но жестко сказал:

— Вы можете сообщать о чем угодно и куда угодно. Нам же немедленно верните лошадь, иначе из-за отсутствия топлива мы вынуждены будем закрыть школу, и отвечать за это придется вам.

— Ты меня не пугай, понял! — вновь взвился на дыбы Хамей.

— Тогда, прежде чем вы сообщите «куда следует» обо мне, позвольте и мне позвонить в райком и сообщить о сегодняшнем положении школы...

Увидев, что Акрам-агай потянулся к трубке, Хамей вскочил со стула и, загораживая собой аппарат, дрожащим голосом произнес:

— Подождите... как вас... товарищ Амантаев. Я дам вам лошадь.

— ...И сена! И овса! — стоял на своем Акрам-агай. —

И не забудьте, что за ремонт и отопление школы тоже отвечаете вы.

Секретарь сельсовета снова рассвирепел:

— Приехал, понимаешь, чтобы командовать...

Они смотрели друг на друга в упор, стоя возле висящего на стене телефона. На этот раз Акрам-агай, не выдержав, ничего не говоря, схватил Хамея за отвороты пиджака и встряхнул.

В этот же день школьная лошадь вернулась на прежнее место и привезла на санях целый воз сена. Но тревога вселилась в меня: не тот Хамей человек, чтобы проглотить такое оскорбление, да еще от кого, — теперь он будет искать случая, чтобы рассчитаться с директором и новым учителем сполна.

8

В сенцах у Шарифы, высунув язык и напрягаясь, что есть мочи, я старательно кручу точило. Акрам-агай время от времени прижимает к нему лезвие топора, а потом проверяет рукой — острое ли. Неугомонная Шарифа наблюдает за нами и то и дело просит:

— Гафар, дай я покручу, а?

Я уже порядком устал, но не подаю вида и перевожу дух, лишь когда Акрам-агай окунает топор в воду и поливает ею точило. Потом все начинается снова: я кручу ручку, а он с силой давит топором на каменное колесо.

— Сы-ыз, сы-ыз, — раздаются на весь дом звуки.

— Как ты старательно точишь, Акрам, — говорит мать Шарифы, подойдя к нам поближе. — Ну прямо как мой. Тот тоже, бывало, подолгу точил...

— Очень уж затупился, как вы только им пользовались!..

— Да уж верно, — соглашается хозяйка, — сколько уже не касалась этого топора мужская рука... Так только, тюкали им...

— Ну вот, теперь, кажется, готов, — в который раз пробует пальцами острие Акрам-агай и обращается ко мне: — Неси-ка и свой топор.

Я еще стою некоторое время в замешательстве: ведь учитель болен, у него и так мало сил. Шарифа говорит, что он часто стонет во сне.

— Ну что же ты, Гафар, беги скорей, — торопит Акрам-агай.

...Принесли топор и от Магузы-апай. Пот с меня течет уже градом. Шарифа, пытаясь помочь, тоже пробует крутить точило, но руки у нее слабые, и она быстро выдыхается. Я замечаю, что и Акрам-агай все чаще кашляет, хватаясь за грудь.

— Может, хватит, Акрам-агай? — робко говорю я.

Но он лишь устало улыбается в ответ.

На посиделки в дом Шарифы собрались моя мама, Магуза-апай и еще две соседки. Женщины слушают звуки точила почти завороженно, а потом начинают переговариваться:

— Сразу ясно, мужчина в доме.

— Мастер на все руки.

— Всем соседкам топоры наточил.

— Да что топоры, слыхала — и пилу...

Наточить пилу у нас в деревне считается самым сложным делом. Но и на этом не остановился Акрам-агай, попросив меня найти у кого-нибудь долото и фуганок, теперь приводил инструмент в порядок.

Вскоре он принялся ремонтировать в школе двери и рамы.

Я и еще трое семиклассников решили взять на себя хотя бы часть забот учителя и в воскресенье привезли из леса на лошади три воза дров.

Мы видели, что Акрам-агай работал не только днем, после уроков, но и вечерами, при свете керосиновой лампы, и тоже подолгу не уходили из школы. Дел хватало всем. Наиля-апай, учительницы и девочки-старшеклассницы заклеивали окна. Мальчишки учились у Акрама-агай столярничать. Мне казалось, что нет такой вещи, которую Акрам-агай не мог бы сделать своими руками. Но сам он был недоволен:

— Нет, это не дело, — говорил он Наиле-апай, — сколько бы мы ни старались, тепло долго не держится, только переводим дрова. Надо искать кирпич для печей.

— Что ты говоришь, Акрам?.. В такой мороз ремонтировать печи?!

— Всем трудно сейчас, как-нибудь перетерпим холода, — поддерживали директора учительницы. — Время такое...

— Время тут ни при чем. На время легче всего сослаться и опустить руки. Время как раз такое, когда нужно делать даже невозможное, — хмурится Акрам-агай. Единственный мужчина не только в школе, но и, пожалуй, в нашем краю, он чувствует себя ответственным за все.

— Но где мы найдем материалы и печника? — с отчаянием в голосе произносит Наиля-апай.

— Печник есть, — твердо говорит Акрам-агай. — Будем просить в сельсовете кирпич...

На этот раз в конторе их встретил не Хамей, а сам председатель сельсовета — седой, с неприветливым лицом и насупленными бровями человек. Он сухо поздоровался и даже не предложил сесть. По-видимому, Хамей уже проинформировал своего дядю о стычке с новым учителем.

Сам же Хамей сидел, зарывшись в бумаги, и не поднимал головы.

— Вот это наш новый учитель, военрук... — обращаясь к председателю, начала Наиля-апай.

— Понятно. Что дальше?

— Нам нужен кирпич, — без предисловий выложила она.

—Когда я учился, мы обходились на уроках без кирпичей, — попытался сострить председатель, явно давая понять, что серьезно он говорить на эту тему не намерен.

— Не смейтесь, пожалуйста, — вспыхнула Наиля-апай, но, заметив, что Акрам-агай занервничал, мягко коснулась его руки и продолжала уже спокойно: — Вам, я думаю, известно, что мы приступили к занятиям без ремонта. Печи почти не греют, дети в школе замерзают...

— Вы что, хотите, чтобы я пошел к вам перекладывать печи? — Председатель сельсовета явно уходил от ответа.

— Вы нам только кирпич найдите. А если детям придется прервать учебу, ответственность за это ляжет на вас.

Ничего не ответив, председатель многозначительно посмотрел на Хамея. Тот, как будто по команде, вскочил из-за стола и закричал:

— Где я возьму деньги на ремонт печей? В смете на этот год не заложено. А кирпич где возьму? Или вы думаете, что у нас с товарищем председателем свой кирпичный завод?

— Никакой сметы от вас не требуется, только помогите найти кирпич, — твердо сказал молчавший до сих пор Акрам-агай.

Хамей, привыкший к тому, что все в деревне ему подчинялись, конечно же не мог так просто забыть, что эта школьная учительница — какой она директор, лишь по слу-

чайности — столь решительно отвергла его. Мало того, она еще и сюда, как бы в насмешку, как ни в чем не бывало приходит, да еще этого нахала за собой тащит! Точно, снюхались, так еще напоказ надо... Его буквально распирало от бешенства:

— А ты еще не ответил за нападение на советского работника, штрафник... И потом, думаешь, мы не знаем, что ты с директоршей шашни развел, вместо того, чтобы делом заниматься.

Акрам-агай побледнел и сжал кулаки, но Наиля-апай не дала ему сказать ни слова:

— Как вы смеете? Где ваша совесть? — сквозь слезы, но твердо сказала она. — Ведь Акрам Сагитович фронтовик, инвалид. И он хочет помочь не только школе, но и выручить вас, бездельников, ведь это ваше дело — ремонтировать и отапливать школу. А вы постоянно оскорбляете его, грозите расправой. В конце концов я тоже позвоню туда, куда постоянно грозитесь позвонить вы, и ко мне, наверное, тоже прислушаются — я ведь директор школы...

В этот момент дверь распахнулась, и в контору вошел председатель колхоза. Увидев его, Хамей стал кричать еще громче:

— Сельсовет вам не кирпичный завод. Или мы, по-вашему, должны разобрать на кирпичи печи в клубе и фельдшерском пункте?

— Можно бы и разобрать, у вас люди давно туда дорогу забыли, потому что фельдшера нет и клуб — на замке, — ответил Акрам-агай.

— ...А у нас дети мерзнут, — подхватила Наиля-апай.

Хамей снова, как за баррикаду, спрятался за свой стол. Председатель сельсовета молчал — видимо, решил и на этот раз остаться в стороне.

— А ведь директор и учитель правы, — вздохнув, сказал председатель колхоза. — Это наше с вами упущение, товарищи. Надо помочь школе.

— Ну что мы сможем сделать зимой? — глотая какую-то таблетку, скривился председатель сельсовета.

— Послушайте!.. — вдруг обрадованно воскликнул председатель колхоза. — Выход, кажется, есть. Помните, в сушилке для зерна дед Гиляж делал и обжигал кирпичи? И хорошо у него получалось. Сушилка до сих пор работает, благодаря печам, которые дед из тех кирпичей сложил...

— Так-то оно так, — почесал затылок председатель сельсовета, — Но где взять деньги, чтобы нанять печника?

— Деньги не нужны, — спокойно сказал Акрам-агай, — Печи я сложу сам...

9

...В колхозной зерносушилке среди зимы стало жарко, как в июле. Мы забегали туда после школы, чтобы погреться, и оставались надолго: уходить от Акрама-агай не хотелось. Он работал, забыв об отдыхе: возил из карьера глину, месил ее и вместе со стариками, вызвавшимися ему помочь, делал и обжигал кирпичи. С рассказами о фронтовой жизни, в работе ночи пролетали незаметно, и Акраму-агай казалось, что он ничего не успевает делать.

— Кирпича еще маловато, — озабоченно говорил он. — Побольше надо бы заготовить. Ведь у многих солдатских вдов и солдаток печи держатся на честном слове. Будем лепить, чтоб на всех хватило...

Помогать ему долбить глину в карьере приходили не только старшеклассники, но даже кое-кто из женщин — многим хотелось помочь учителю.

Во время каникул старые печи были разобраны. Из школы на всю округу распространялся неприятный запах старых кирпичей. Акрам-Агай уже которую ночь почти не смыкал глаз: готовил раствор и клал кирпич за кирпичом, изредка греясь возле небольшой чугунной буржуйки.

Мать Шарифы и моя мама по очереди посылали нас отнести Акраму-агай еду.

— Какой мужественный человек! — говорили они. — Посмотришь — в чем душа держится, а столько работает!

...Когда началась новая четверть, почти во всех классах печи были готовы, и школа встретила нас непривычным теплом.

То, что учитель Амантаев оказался отличным печником, стало известно всей деревне. И вскоре с просьбами подремонтировать печь к нему один за другим пошли жители села. Он никому не отказывал, часто работал по ночам, и я удивлялся, как ему хватает сил, ведь он по-прежнему преподавал физику, химию и военное дело, на собраниях выступал перед колхозниками с сообщениями о положении на фронте.

Уже над многими соломенными крышами трубы начали дымить веселее, но именно в это время прибыла к нам комиссия из райцентра — расследовать жалобу на Амантае-

ва, поступившую из сельсовета. Нетрудно было догадаться, что состряпал ее Хамей.

По его словам, новый военрук, появившись в школе, завладел полномочиями директора, превратив ее в свою любовницу, и, не имея педагогического образования, завалил всю учебную работу. Но и этого ему показалось мало: он стал вмешиваться в дела сельсовета, требуя, якобы для школы, все, что ему надо. Школьную лошадь использует исключительно в личных целях. В колхозной зерносушилке организовал обжиг кирпича, из которого кладет печи колхозникам, разумеется, за хорошую плату. Более того, рассказывая на собраниях о военных действиях, вводит людей в заблуждение, ссылаясь на сомнительные факты, которых не найдешь в газете. Тяжелое ранение помогло ему избежать трибунала, но это не умаляет его вины перед Родиной...

Комиссия вела проверку долго и тщательно. И однажды, возвращаясь из школы, я застал в нашем дворе мать Шарифы и Магузу-апай. Вместе с мамой они громко смеялись, приговаривая: «Вот так-то, не рой яму другому...»

Оказывается, за клевету Хамея сняли с должности секретаря сельсовета.

10

Было уже далеко за полночь, а мы с Наилей-апай все перебирали в памяти события тех далеких дней. Мне казалось, что от воспоминаний у нее как будто немного оттаивала душа. Она не могла примириться со смертью мужа. Я же, может быть, потому, что с тех давних лет не видел Акрама-агай и не был на его похоронах, испытывал странное чувство. Будто он не умер, будто он просто куда-то уехал, а точнее, словно он по-прежнему живет в нашей деревне, а мы уехали из нее. И по-прежнему он был молодым, каким я его знал и помнил, а на фотографии на столе совсем другой человек, похожий на Акрама-агай, но совсем другой, может, его старший брат...

...В один из вечеров, когда к матери Шарифы собрались на посиделки соседки, Акрам-агай достал из вещевого мешка гармонь. То была старенькая тальянка, с виду такая же немощная, как и ее владелец. Но стоило Акраму-агай растянуть мехи и пробежать пальцами по кнопочкам, как

гармонь сразу ожила. Он играл родившиеся уже в военные годы, но известные всем грустные мелодии — удивительные песни рождала суровая година.

Солдатки вначале нерешительно, а потом увереннее запели. Они пели и плакали, а мы с Шарифой и Наилей-апай, которая тоже частенько забегала сюда по вечерам, слушали.

Сама Наиля-апай никогда не пела и даже не брала с собой вязанье. Она сидела тихонько, прислонившись к печке, и только глаза ее, встречаясь с глазами Акрама-агай, становились такими, что мне делалось не по себе. Взглядами они как будто говорили друг другу то, что никогда бы не сказали вслух.

Но однажды нам все же довелось услышать, как поет Наиля-апай. Было это на концерте, посвященном празднику Первого мая. На маленькой клубной сцене она стояла рядом с игравшим на гармони Акрамом-агай и, немного стесняясь, пела задушевную башкирскую песню.

Голос у нее был не очень сильный, но красивый и чистый. Я смотрел на нашего директора и не узнавал ее. Наиля-апай как будто светилась изнутри — с таким чувством она пела. Все, что она терпеливо носила в своем сердце, в этот весенний день вырвалось наружу в песне. Она смотрела в зал, но всем было ясно, что песня обращена только к одному человеку.

О любви Наили-апай и Акрама-агай уже давно знали в селе. А как они внимательно и бережно друг к другу относятся! По мнению моей мамы и Магузы-апай, такая строгая и красивая любовь рано или поздно должна закончиться счастливым супружеством. Во всяком случае, все наши соседки желали видеть этих очень почитаемых у нас в деревне людей мужем и женой, а после первомайского концерта тем более уж заговорили о близкой и неминуемой свадьбе.

Время шло, но, к всеобщему удивлению, свадьба не намечалась. Наиля-апай и Акрам-агай по-прежнему жили в разных домах, через улицу, и виделись только в школе да по вечерам, ненадолго забегая друг к другу.

Заметив, как переживает Наиля-апай эту неопределенность, моя мама и Магуза-апай недоуменно переговаривались:

— Ведь всем видно, что дня не могут прожить...

— Акраму на фронт идти уже не придется, отвоевался. Значит, и Наиля вдовой не останется. А все ждут чего-то, по ночам вздыхают и терзаются...

— И не говори! Наиле уже пора быть мужней женой.
— Да и ему-то, раненному, как нужна женская ласка и забота!

Женщины всем сердцем жалели двух молодых людей и никак не могли понять их поведения.

11

Наиля-апай достала из шкафа альбом с фотографиями и, показывая их мне, тихо сказала:

— Знаешь, Гафар, мне кажется, что Акрам был в моей жизни всегда. Я, наверное, любила его еще в школе. По-детски, наивно, не сознавая этого, но любила. Без него мне было скучно, я и дразнила-то его, чтобы обратить на себя внимание. А он своей выдержкой и терпением всегда обезоруживал меня.

Когда началась война, я жила только его письмами. И каждую минуту боялась за него. Мне казалось, будь я рядом, никакая пуля не смогла бы его задеть.

А это известие о тяжелом ранении... Я не находила себе места, прося судьбу только об одном — чтобы он остался жив. Беспомощный, искалеченный — он был дорог мне любой. Я плакала от радости, когда получила от него письмо из госпиталя: он жив — и это главное. Остальное я сделаю сама Я поставлю его на ноги, буду его опорой. Так мне тогда представлялось. А вышло все наоборот.

Приехав ко мне в ваше село, Акрам взвалил на себя нелегкую мою ношу. Да, к тому времени я поняла, что вести педагогическую работу, и тем более директорскую, — это совсем не то, что изучать ее в институте. У меня уже опускались руки, я готова была с позором бежать из деревни. И именно в это время появился Акрам и спас меня. Нет, даже не просто спас, а помог найти единственно верный путь — борьбы с трудностями. И первым начал его. Да, я была директором, а он... моим учителем.

Теперь, когда мы уже жили и работали рядом, я поняла, что не могу без него существовать: любовь моя крепла с каждым днем.

Я не сомневалась, что и Акрам любил меня не меньше, — об этом говорили его глаза. Но он медлил, что-то мешало ему сказать единственное слово, которого я столько ждала. И лишь иногда подолгу виновато смотрел на меня, так что сердце замирало. Ночами я не спала, мучаясь в догадках.

Я понимала, какой-то червь сомнения точит его. Когда Акрам получал письма и с нетерпением, волнуясь, вскрывал их, мне начинало казаться, что где-то у него есть другая.

Наконец, не выдержав, я сама решила поговорить с ним откровенно.

— Акрам... я знаю... ты тоже мучаешься... Нам обоим трудно... — Я не могла в эту минуту выразить все, что чувствовала: слова были корявые, путаные. — Мне каждый день, каждую минуту хочется заботиться о тебе...

Он все понял, но медлил с ответом. Мне казалось, я не переживу его молчания.

— Я тоже люблю тебя, Наиля, — сказал наконец он. — И тоже мучаюсь без тебя. Но... я не смогу сделать тебя счастливой. Я не знаю, что будет со мной завтра, через месяц, полгода... А молоденьких вдов сейчас и без того много...

— Я буду ухаживать за тобой, и ты выздоровеешь, — почти умоляла я его.

Но он был непреклонен:

— Нет, Наиля, я просто не имею права бросать на тебя тень...

Это были самые горькие слова, которые я когда-либо слышала от него.

Тогда в селе многие поговаривали, что, мол, неплохо бы, если б директором школы стал Амантаев. Ты ведь знаешь, он делал для школы гораздо больше меня. Да я и сама чувствовала, что занимаю не свое место, хотя к тому времени школа, благодаря Акраму, числилась в районе среди передовых.

В роно я не раз предлагала назначить директором Амантаева, но мне отвечали, что в его биографии есть негативные моменты и при всем том, что он очень знающий и деятельный человек, директором его ставить нельзя.

Об этих «негативных моментах» в деревне полгода ходили разные пересуды. Слухам о том, что Амантаев на фронте якобы застрелил своего командира, никто не верил. Но все же предполагали, что он чем-то провинился — иначе почему у него нет наград.

Я видела, что Акрама постоянно гложут мрачные мысли, и не раз просила его поделиться со мной тем, что его мучило.

— Нет, Наиля, — говорил он. — Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Верь только, я ни в чем не виноват

перед Родиной. Придет час — и правда возьмет свое. Тогда и расскажу тебе обо всем.

12

...Возле Карасева озера мы с Акрамом-агай пашем залежь. Время посевной давно прошло, высохшая земля плохо поддается плугу, но мы старательно пашем те пять гектаров, которые выделены школе.

Эту брошенную землю Акрам-агай и Наиля-апай с большим трудом отвоевали на правлении колхоза. Со скрипом, на неделю, выделили в сельсовете и лошадь. И теперь она в одной упряжи со школьной тянет за собой плуг.

Пройдя два круга, Акрам-агай в бессилии опускается на землю и отдыхает, и я встаю на его место.

После тяжелой зимы лошади еще не набрали сил и ходят споро только полдня, а потом тащатся еле-еле, и мне то и дело приходится брать их под уздцы, а Акраму-агай погонять их кнутом. Когда не помогает и это, он сам начинает тянуть упряжь вместе с лошадьми.

На ближнем конце поля веселее: Наиля-апай, учительницы и девочки-старшеклассницы копают землю лопатами.

— Просо хорошо родится именно на залежной земле, — подбадривает всех Акрам-агай, когда, усталые, мы усаживаемся перекусить. — Если сумеем возделать и засеять ее побыстрей, обеспечим пшеном школьную столовую. Всю зиму будете есть кашу. — Затем с мечтательной улыбкой продолжает: — Вот кончится война, придут на колхозные поля тракторы, и вы станете вспоминать, как вскапывали эту делянку лопатами, а молодежь будет слушать вас и удивляться. А вы с гордостью сможете сказать, что в героической победе над фашистами есть и ваша доля. Да, ребята, вы еще не раз вспомните эти дни!

Перед войной наш колхоз был уже довольно крепким хозяйством. Люди стали жить богаче, успели забыть о голоде и лишениях. Два года войны перечеркнули все, и, по правде говоря, нам было очень трудно представить, что когда-нибудь на полях дни и ночи будут гудеть тракторы. Только в одном мы не сомневаемся: Красная Армия разгромит врага. Это прибавляет нам сил.

Скудная наша провизия, взятая из дома, исчезает мгновенно, в желудке по-прежнему сосет, и мы стараемся не думать о еде — так легче. Акрам-агай, как всегда, выручает,

— Давайте-ка лучше споем, — говорит он и берет в рукн гармошку.

Наиля-апай начинает громко одну нз довоенных песен, и все дружно подхватывают. С песней легче прнннматься за работу.

...Не прошло и неделн, как мы вспахали свою делянку. И теперь Акрам-агай, повесив на себя торбу с зерном, засеивает наше маленькое поле, а я одноконной бороной заделываю семена в почву.

Акрам-агай очень устал — это сразу видно по его лицу, по походке, но настроение у него хорошее.

— Земля добрая, значнт, урожай будет, — говорит он, подходя к мешку за очередной порцней семян.

— Акрам-агай, отдыхайте, — осторожно советую я. — Ведь вы обещали Наиле-апай, что будете отдыхать...

— Уже немного осталось, вот кончу — тогда и отдохну, — отвечает он н вновь направляется к пашне.

«Как хорошо, что мы скоро кончим сеять», — думаю я, ндя за бороной, но, в очередной раз на краю делянкн повернув лошадь, вдруг замечаю, как Акрам-агай падает ничком на землю.

Подбежав, я мечусь возле него, не зная, что делать. Стараюсь прнподнять, умоляю сквозь слезы:

— Акрам-агай, Акрам-агай, вставайте...

Но у него горлом начнвает идти кровь.

В бессилии я сажусь рядом с ним на землю и в следующую мннуту замечаю, как со стороны деревни к нам приближается человек. Наиля-апай?.. И я бегу к ней навстречу...

— Гафар, дорогой, скорее запрягай лошадь в телегу, — Нанля-апай приподннмает за плечн Акрама-агай и поддерживает его.

Совсем обессилевшего, потерявшего сознание Акрама-агай мы легко поднимаем на телегу — он почти невесомый, — н Нанля-апай дергает вожжи. «Скорее, голубушка, скорее...» — побелевшимн губамн проснт она лошадь.

Я остаюсь на поле однн. Некоторое время стою как истукан, не зная, что делать дальше. А потом, повесив на шею торбу Акрама-агай, иду досевать оставшнйся клочок землн.

К вечеру я заканчнваю свою работу и в нзнеможении опускаюсь на пустые мешкн. Перед глазамн плывут какие-то черные круги, и очень хочется пить.

В деревне навстречу мне выбежала бойкая Шарифа.

— Наиля-апай увезла Акрама-агай в районную больницу, — еще на ходу выпалила она. И, переведя дух, добавила, успокаивая то ли меня, то ли себя: — Они вернутся, Гафар, вот посмотришь, они обязательно вернутся...

Мы ждали их все лето. И когда однажды я, не вытерпев, собрался идти в район пешком, Шарифа, вздохнув, сказала:

— Не ходи, Гафар... Их там нет. Акрама-агай в город перевели, в госпиталь. Наиля-апай тоже с ним уехала. Она маме написала...

Я долго стоял молча. На душе у меня стало пусто и серо, и, заметив мое состояние, Шарифа вдруг спросила:

— Скажи, Гафар, ты любил Наилю-апай? То есть... был влюблен?

Внутренне я был готов ответить Шарифе: «Да». А вслух произнес:

— Болтаешь не знаю что! Как тебе не стыдно!

Но девчонка не сдавалась:

— Нет, Гафар, я все понимаю... Я ведь и сама так соскучилась по Акраму-агай!.. Он мне даже во сне снится.

...Мы ждали их и осенью. Каждый день. Пока в школу не приехал новый директор. А потом появился и новый преподаватель военного дела — недавно комиссованный фронтовик. Увидеть Акрама-агай мне так больше и не довелось.

13

Рассвет пробивался сквозь окна медленно, будто нехотя. Наиля-апай выключила настольную лампу и вновь углубилась в свои мысли. В комнате было еще сумрачно, и мне казалось, что если бы я сейчас надумал походить по ней, то непременно увяз бы в этих сумерках. Выходной день обещал быть пасмурным, как и предыдущий.

Дочь Наили-апай принесла нам чаю. Я слышал, как в прихожей хлопнула дверь, потом там негромко о чем-то переговаривались, и в комнату вошла моя жена.

— Я думала, придет чужая женщина, а оказалось, это моя ученица... — Наиля-апай поднялась навстречу Шарифе. Они обнялись и вместе всплакнули.

— Выйти замуж по первой любви — это такое счастье!

Да, друзья мои, я тоже была счастлива. Несмотря ни на что...— Наиля-апай вздохнула...

...— В госпитале Акрам лежал почти год. Медленно, но все же выздоравливал. Я видела, что ему уже получше, и это вселяло в меня надежду. Мне и в голову не приходило, что можно оставить его и вернуться в деревню. Я устроилась в этот госпиталь няней и теперь дежурила возле Акрама по ночам.

«Когда ты сидишь рядом со мной,— говорил он,— мне даже легче дышать». Он уже поверил в то, что будет жить.

Весной его выписали, и мы поженились. Сняли у одной старушки маленькую комнатку. Не было на свете людей счастливее нас.

«Ты закончишь институт, потом вернемся в деревню,— строил планы Акрам.— Тебе трудно будет работать и учиться, поэтому увольняйся из госпиталя, проживем и на мою зарплату».

Его приняли в школу преподавателем физики. Одновременно он взял на себя обязанности электрика и завхоза, чтобы я ни в чем не знала нужды и продолжала учиться.

Нам удалось собрать немного денег, и мы купили у хозяйки баньку. Акрам привез машину старых шпал и взялся за строительство. Вы знаете, руки у него золотые, и к осени старая банька превратилась в красивый, точно игрушечный, домик. Здесь, в этой большой квартире, я часто вспоминаю тот «теремок» — в нем мы прожили самые счастливые наши дни, встретили Победу.

Окончив институт, я устроилась в ту же школу, где работал Акрам. Физику он уже не вел — к этому времени было достаточно преподавателей со специальным образованием, но по-прежнему, оставаясь электриком и завхозом, готовил к занятиям кабинеты физики и химии, часто помогал ребятам в учебных мастерских.

Тогда же произошло и то, чего так долго ждал Акрам,— его окончательно реабилитировали. Сколько усилий пришлось приложить друзьям-однополчанам, чтобы доказать его невиновность!

Как радовался Акрам! Прежде я никогда, даже в самые тяжелые минуты, не видела у него на глазах слез. А тут он первый раз плакал.

Как и обещал, он наконец рассказал мне обо всем.

...Шло жестокое сражение за городок В. Рота, в которой Акрам был политруком, получила боевое задание — захватить железнодорожную станцию и ворваться в город. Сделать это было непросто: немцы основательно закрепились на станции, опоясали ее полосой долговременных укреплений.

Ротой командовал тогда горячий и отчаянно смелый человек, этим он был известен во всем полку, но его смелость порой граничила с безрассудством. С криком «ура!» он был готов идти под пули, кидаться в лобовую атаку, не очень задумываясь о том, сколько бойцов останутся живы после такой атаки. Успеха в проведении операций он, как правило, добивался ценой больших потерь.

Уже после прихода Амантаева в роту состав ее почти полностью обновился. Политрук не раз начинал разговор с командиром, но у того был один аргумент: «Главная задача — победить врага, а если мы будем щадить себя и солдат, то никогда не выполним ее».

Вначале споры их заканчивались мирно. Амантаев старался сдерживаться, да и командир сохранял внешнее спокойствие. Но когда политрук поднял наболевший вопрос на заседании штаба полка, тот не вытерпел.

— Гнилой интеллигент, — бросил он Амантаеву уже наедине. — Это философия трусов, она не годится для воспитания настоящих солдат.

И когда надо было выбивать немцев со станции — а поручили это именно ему, потому что за ним была репутация выполняющего любые, порой невыполнимые приказы, — он остался верен себе и предпринял попытку вести наступление наиболее коротким путем, через поле, под непрерывным огнем противника.

На середине поля, как и следовало ожидать, рота залегла под шквальным пулеметным огнем.

— Дальше идти нельзя, — пытался переубедить командира политрук, — нас попросту перестреляют. Надо вернуться на исходные позиции, чтобы найти другой путь и взять станцию с наименьшими потерями.

Взбешенный командир выхватил из кобуры пистолет:

— Да ты, оказывает, трус!..

Вышедший из себя Амантаев тоже вскинул пистолет... Но в следующее мгновение командир, сраженный вражеской пулей, упал на грудь политрука.

Амантаев передал командира подоспевшим санитарам и, приняв на себя командование ротой, приказал отступить на исходную позицию.

— Почему отступаете? — кричал в трубку Амантаеву командир батальона. — Где ротный?..

Но связь прервалась, и объяснить создавшееся положение он не успел.

Выход все же был найден. Рота вышла к станции через широкую канализационную трубу и ударила противника с тыла, открыв ворота в город.

Это была самая успешная и бескровная операция в истории роты, но Амантаеву не довелось разделить общую радость: уже в самом конце боя на станции его прошила автоматная очередь.

Истекающего кровью политрука доставили сначала в медсанбат, а потом в полевой госпиталь. Он долго не приходил в себя и не мог знать, что смерть, нависшая над ним, была все же не самым страшным приговором. Кто-то видел его стычку с командиром роты и успел доложить об этом командованию. И теперь в случае выздоровления его ждал трибунал.

Политрук Амантаев не знал и не мог знать, что хирург, спасший его от смерти, спас его и от страшного обвинения, когда извлек из тела убитого ротного вражескую пулю. Он успел сообщить об этом только батальонному комиссару и вскоре сам был тяжело ранен при воздушном налете.

Только при переводе в тыловой госпиталь Акрам узнал, что на него заведено дело и дело это, несмотря на показания комиссара батальона, еще не закрыто.

В родные края он вернулся без наград, инвалидом и уже сам не мог понять, что причиняет ему большее страдание — раны или тяжкое, несправедливое обвинение.

...— Когда я ругала его за то, что он столько лет один нес эту адскую муку, он оправдывался: зачем, мол, рассказывать о своих бедах, с людьми надо делиться только радостью... — Наиля-апай вздохнула: — Да, на примере Акрама я поняла, что радость — лучшее лекарство. Он словно переродился в те дни... Ему вернули все прежние награды и даже вручили новый орден.

Народу у Амантаевых собралось уже немало.

— А вот мои старшие дочкн с мужьями, — сказала Наиля-апай. — Знакомьтесь.

Мы с Шарифой недоуменно переглянулнсь: одной из них с виду, наверное, лет сорок, а ведь когда Наиля работала у нас директором, у нее ие было детей. Обе женщины очень похожи друг на друга и совсем ие похожи ни на мать, ни на отца.

Заметив наше удивление, старшая сразу же объяснила:

— Мы — приемные у мамы с папой. Война многих детей сделала сиротами, и ие всем удалось снова обрести семью. А нам вот повезло. — Оиа подсела к Наиле-апай, обняла ее и начала рассказывать.

... —На отца с фронта пришла похоронка. А через год, зимой, от воспалення легких умерла мать. Нас с сестренкой должны были отправить в детский дом. Мы почему-то очень боялись этого и тайком убежали из деревни — нам не хотелось в детский дом. Каким-то поездом доехали до города. Две ночи провели иа вокзале, перебиваясь тем, чем с иами делились люди, а потом, испугавшись милиционера, ушли. Ходили по улицам, смотрели иа большие дома и не знали, куда деться. У сестренки был жар, у меня разболелся жнвот. Мы уже не могли больше ходить и, привалившись к какому-то забору, заплакали.

К нам подошел дяденька и, присев возле нас, стал расспрашивать, кто мы и откуда. Голос у него был спокойный, мягкий — и мы рассказали ему все. Он поднялся и произнес решительно:

— Пошли!

Мы снова испугались, решив, что он хочет сдать нас в милицню, чтобы отправнть в детский дом. Но он привел нас к себе, в маленький, прямо игрушечный, домик.

Дверь открыла молодая, очень красивая женщнна, и он сразу ничего не объясняя, заявил:

— Вот, жена, нашел я наших детей... Заблудилнсь в городе. Они нездоровы. Ты их умой, накормн и уложи в постель. А я схожу за врачом.

— Вот так и началась у иас новая жизнь, — продолжала младшая сестра. — Мы всегда были сыты, одеты, но самое главное — росли в ласке. Со временем нас разыскали односельчане, предлагали вернуться. Но мы плохо помиили родиых отца и мать, дом иаш уже был здесь, и никуда не

уехали. И после того, как у мамы с папой родилась своя дочка, ничего не изменилось в нашей семье, для них мы все были равны.

Сидевший возле нас с Шарифой мужчина, перелистывающий альбом, оказался директором школы, в которой работал Акрам-агай.

— Акрам Сагитович был удивительным человеком. Только вот болезнь помешала ему поработать у нас дольше, — вывел он всех из задумчивости. — По состоянию здоровья вышел на пенсию рано. Но все равно школу не забывал, почти каждый день приходил... Руки у него, знаете ли, были золотые. Однажды стал уговаривать меня освободить самый светлый класс под пионерскую комнату. Я в толк не возьму — ведь есть уже пионерская комната. А он свое: не большая, мол, и мало там интересного. В общем, убедил Полгода с ребятами из кружка «Умелые руки» все мастерили что-то, и никого в этот класс они не пускали, до поры до времени в тайне держали. Умел он ребят зажечь, иногда самое обычное дело облечет в форму таинственной игры. Так вот, в апреле, перед днем рождения Ленина, торжественно открыли новую пионерскую комнату. Мы все так и ахнули — посреди нее, на большом столе, — макет Дома-музея Ленина в Уфе и рядом — макеты легендарного броневика, на котором Ильич выступал на Финляндском вокзале, и шалаша в Разливе... И это не все...

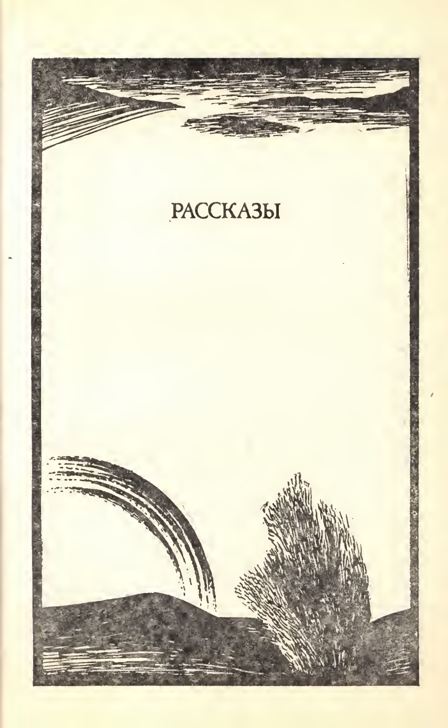
— Да он не только детей мог зажечь, — неожиданно подал голос молчавший до этого пожилой мужчина, сосед Амантаевых по дому. — Мы пенсионеры, бывало, сидим на бульваре на лавочках да от нечего делать только про свои болезни и говорим. А вот Акрам Сагитович как-то зажег нас: давайте, говорит, будем на автобусной и троллейбусной остановках в час пик порядок наводить. Очень уж неприглядное зрелище: толкают люди друг друга, рвутся, как в вагоны военного времени... Надели мы красные повязки, вышли на дежурство: смотрим, действительно порядка больше стало. И даже автобусы чаще начали ходить — Акрам Сагитович добился. Все бегал — то в исполком, то в автохозяйство...

— Отец не для себя жил — для других... — задумчиво произнес муж младшей дочери Наили-апай. — Потому и успел много...

«Очень много...» — подумал я, и так ясно встала перед моими глазами та далекая военная зима.

...Над селом — звездная морозная ночь, а в зерносушилке жарко горят печи. Акрам-агай лепит кирпичи, а дед Мидхат, кряхтя, вынимает их из огня, горячие и румяные, точно хлебы, и говорит, глядя на меня:

— Долго послужат... Поди, и тебя переживут. Человек, он в землю уходит, а сделанное им на земле остается...



РАССКАЗЫ

ЗИМНЯЯ РАДУГА

...Если бы минуту, всего лишь минуту назад я мог предположить, что произойдет после неосторожно сказанных мною слов, то, наверное, прикусил бы язык...

Поздно! Так хорошо начавшееся было застолье в честь приехавших из города родственников сразу потеряло свой веселый настрой. Стихли оживленные разговоры, приуныли гости. И поправить их настроение было так же невозможно, как и склеить красивую фарфоровую чашу, которая пять минут назад еще целехонькая стояла в серванте...

Мне и в голову никогда бы не пришло, что вот так, ненароком, я могу причинить боль снохе моей Гузели, жене старшего брата.

Признаться, я всегда питал слабость к этой женщине, миловидной, с лучистыми добрыми глазами и пышными черными волосами, в которых — увы! — уже стали коварно поблескивать серебряные нити, но все еще увязал гребень. За свою жизнь она перетаскала на коромысле тысячи ведер воды, в суровые военные годы, еще совсем юной, впрягалась вместо лошади в плуг и пахала землю и вопреки всему не износилась раньше времени, до пятидесяти лет на удивление сохранив моложавость и стройный, как в девичестве, стан.

И вот теперь я задел самые сокровенные струны ее души. Нет, задел — не то слово. Я ранил ее душу вместе с тайной, спрятанной там глубоко не только от других, но, пожалуй, и от самой себя.

...Застолье наше, как водится, входило в силу постепенно. Пошли воспоминания, кто-то предложил спеть. Средний сын старшего брата Загир, сидевший до этого в сторонке и не вмешивающийся в разговоры взрослых, уже успел взять в руки баян и, настраиваясь на игру, слегка пробежал пальцами по басам. Но неожиданные звуки вдруг оборвали все разговоры, и в комнате мгновенно воцарилась тишина. Нежная и грустная мелодия, от которой щемило сердце, принадлежала не баяну — Загир и сам слушал музыку, не касаясь больше клавиатуры.

Вместе с ветерком, вобравшим в себя благоухание летнего вечера, в открытые окна лилась мелодия скрипки. То была песня «Пламя», сочиненная кем-то в далекие годы, опаленные огнем сражений, годы моего детства, годы прощания наших старших братьев с юностью. Какой же скрипач, стряхнув пыль времени, вернул к жизни эту почти забытую песню своей мастерской игрой?

Я не сомневался, что звуки долетали из радиоприемника, включенного недавно в соседнем доме; потому что я не помню, чтобы в нашей деревне кто-то играл на скрипке. Раньше были кураисты [1]. Были очень хорошие гармонисты. А теперь все, кому не лень, берутся за баян. Но скрипача не было и нет.

...В дальней дали
От родимой земли
Мне без тебя одиноко... —

воскрешала в памяти незатейливые рифмы плакавшая в сумерках скрипка.

Брат мой, обычно любящий поговорить за столом и вставший, чтобы произнести тост, безмолвно застыл на месте. Замерла с только что вынутой из серванта чашей Гузель, словно забыв, для чего ее достала. Лицо ее, на котором я чаще видел улыбку, иной раз и кокетливую, мгновенно переменилось, побледнело, глаза выдавали волнение.

— Это у Фаниса играют. К ним из Турумбетова родственники приехали, — равнодушно пояснил кто-то из молодых.

— Та-ак... А я думал, радиоприемник... — протянул брат.

— Эти турумбетовские — все такие таланты! — тоном знатока заявила самая юная из снох. — Одни — поэты, другие — скрипачи...

«Турумбетово... Скрипка...» Связавшись воедино, два слова вдруг всколыхнули на дне души моей что-то давнее, почти забытое. И когда смычок, как по сердцу, последний раз прошелся по струнам, я неволно произнес:

— Зимняя Радуга...

В следующий миг сидящие за столом вздрогнули: фарфоровая чаша, выпущенная Гузелью из рук, разбилась вдребезги, а сама она, закрывая ладонями лицо, выбежала из комнаты.

Раньше других пришли в себя две молоденькие снохи: одна кинулась следом за хозяйкой, а другая предусмотри-

[1] Исполнители на башкирской продольной флейте.

тельно встала в дверях, всем своим видом давая понять, что мужчинам там делать нечего.

* * *

...Шел второй год войны, самый тяжелый для страны. Почти все мужчины нашего села были на фронте. С нетерпением ждали своей очереди семнадцатилетние парни. Осенними вечерами, когда уже закончились полевые работы, они ходили по деревне с песнями и чаще других пели одну, в которой были такие слова:

...Уезжаю, милая,
Ты остаешься одна...

— Может, еще и не возьмут нынче, больно уж молодые,— скорее чтобы успокоить самих себя, говорили их матери.

— Только оперились, а уже и воевать,— горестно вздыхали старики.— Негоже это.

Но сыновья, давно мнившие себя на поле боя, ничего подобного и слышать не хотели.

Закружился над деревней первый снежок, а с ним прилетела и новость — теперь на вечерках играют не только гармони, но и скрипка! С наступлением сумерек молодежь выходила на улицу, а старики, женщины и ребятишки лепились к окнам в надежде услышать непривычные для этих мест звуки.

В селе тогда водились саратовские гармошки и тальянки; кое-кто из пожилых неплохо играл на курае, а некоторые девчата — на мандолине. Скрипка же была в диковинку.

И вот теперь по дороге в клуб поющим аккомпанировал скрипач. Играл он очень хорошо, и песни с его появлением стали иными — более грустными, протяжными и красивыми.

Многих занимал вопрос: кто этот музыкант, появившийся и впрямь как снег на голову?

Первым узнал это я, потому что Яйгур — Радуга (так звали скрипача) поселился у нас в доме. Имя его никому не казалось странным, в те годы часто можно было слышать и такие, как Революция, Баррикада, Маузер, Комбайн. Они несли в себе отзвуки времени.

Радуга прибыл из Турумбетова. Весной он окончил десять классов, и его направили в нашу деревню обучать малограмотных взрослых — даже в самые тяжелые, военные годы не забывали об этом.

Как и старшему моему брату, тоже распевавшему на

улицах «...уезжаю, милая...», Радуге было семнадцать. Никто не рискнул бы назвать его красивым: среднего роста, крепкий, с жесткими, торчащими ежиком волосами и узковатыми глазами на мясистом смуглом лице.

С первого же дня Радуга горячо взялся за дела С папкой под мышкой обошел все дома, составил списки своих будущих учеников и пригласил их в школу.

Тот вечер, когда ему предстояло вести первый урок, Радуга ждал с нетерпением и тщательно к нему готовился. Выгладил костюм из простой хлопчатобумажной ткани, который родители совсем недавно справили ему, старшему сыну, уезжающему учительствовать. Моему брату такой костюм справить еще не могли. Рубашка у Радуги, по-видимому, была одна, и он, пристроившись за занавеской возле печки, украдкой хотел простирнуть ее. Мать заметила это, отняла рубашку, выстирала и быстро высушила утюгом.

Только старания ее были напрасными. Вернулся наш гость поздно, как в воду опущенный, и молча забрался на широкую деревянную кровать, где они спали вместе с моим братом. Первый урок, которого он ждал с таким волнением и трепетом, не состоялся: в школу никто не явился.

Утром он снова обошел всю деревню и на этот раз остался доволен. Взрослые ученики, люди в основном пожилые, предложили ему давать уроки на дому, и Радуга согласился.

Вскоре пошли разговоры, что учитель взрослых — очень старательный и требовательный и, несмотря на молодость, много знает.

Дома я все время крутился возле него. Самодельный фанерный чемодан, крашенный зеленой краской, Радуга открывал и закрывал в течение недели множество раз — в нем были книги и тетради. Зато другой продолговатый ящичек красного цвета, тоже самодельный, висел на стене над кроватью, и к нему никто не притрагивался.

Но сегодня Радуга открыл его первый раз и вынул посверкивающую лаком скрипку. Пристроив ее на плече, он заиграл знакомую протяжную мелодию. Почему грустная мелодия на скрипке звучит еще грустней?

Мать вышла из кухни, вытирая слезы. Молча слушала, а потом, подойдя к Радуге, сказала негромко:

— Какой ты способный, сынок!.. Тебе бы учиться дальше... А вы — воевать... — она кивнула в сторону брата и снова заплакала.

Радуга был неразговорчив, только перед сном они иногда подолгу шептались с братом. Но стоило ему взять в руки скрипку, как лицо его, обычно казавшееся угрюмым и непроницаемым, становилось мягче, а в глазах под припухшими веками вспыхивали жизнерадостные искорки.

Песне стало тесно в четырех стенах, и она выплеснулась из дома. Мой брат и Радуга, стуча сапогами по комьям мерзлой земли, истомившейся в ожидании снега, двинулись по улице. Я стоял у ворот, напряженно всматриваясь в темноту, но их уже не было видно, только доносились звуки скрипки.

...Уезжаю, милая,
Ты остаешься одна... —

вдруг запел брат. Удивительно, этот Радуга, оказывается, знает, что поют все парни села. Вскоре над улицей звучала уже многоголосая песня: скрипка точно магнит тянула парней из домов на гулянье.

Клуб размещался в самой большой избе, крытой, как и все остальные, соломой. И когда в окнах его появился тусклый свет, одна за другой потянулись на огонек девчата. Мы, тринадцатилетние подростки, по какому-то неписаному закону могли прийти в клуб только после того, как там соберутся наши старшие братья и сестры.

То ли потому, что так много народу набилось в избу, то ли еще по какой причине, мне показалось, что все в тот вечер было иначе: по-новому звучали голоса, старые игры обрели свежесть, и даже вечно холодное помещение как будто потеплело. Непривычные для этих стен звуки создавали особое настроение.

Учитель взрослых Радуга по-прежнему был сосредоточеи, не вступал в разговоры и только играл, стоя на виду, то плясовую, то частушки, под которые у нас всегда устраивали хороводные игры. Ему заказывали любимые песни, и он, не заставляя себя ждать, тут же исполнял одну за другой. Хорошо получалось у Радуги и на пару с гармонистом.

Так и пошло. В короткие дни зимы учитель малограмотных ходил по домам и давал уроки, а мой старший брат, несмотря на молодость назначенный колхозным бригадиром, работал, порой забывая даже поесть, — мужских рук в хозяйстве было мало. Вечером же, немного подкрепившись и будто забыв об усталости, они выходили иа улицу, и снова в звонком морозном воздухе пела скрипка.



В дом к нам частенько забегала соседская девушка Гузель, самая красивая в деревне, и каждый раз я испытывал радостное чувство от того, что она дружит с моим братом. Сердце мое ликовало, когда я замечал, как они, уединившись, тихо о чем-то разговаривают и улыбаются друг другу. А уж если Гузель танцевала с братом в клубе, я просто млел от блаженства, готовый подпрыгнуть до неба, потому что был влюблен в нее не меньше брата. Если б я мог приблизить день, когда Гузель войдет в наш дом невесткой! Я ревновал ее к другим парням, хотя для этого не было повода, и, как телохранитель, потихоньку ходил за ней следом. Нет, первая в красоте и делах девушка обязательно должна стать женой моего брата-бригадира, который в последнее время как-то вдруг раздался в плечах и вырос.

Я замечал, что когда Гузель бывала у нас, то и мать ходила сияющая, довольная. Соседский дом был хорошо виден из наших окон, и мать нередко наблюдала, как Гузель несет воду, грациозно ступая под тяжестью коромысла.

Да, первую невестку мать ждет не дождется. Еще перед войной, при отце, бывало, сходив за водой, она начинала причитать:

— Уф, поясница!.. Совсем замучила...

Отец добродушно поддразнивал ее:

— Сама виновата, нарожала одних пацанов.

Однако не похоже, чтобы мать горевала, что в доме одни мальчишки.

— Если даже все приведут невест, дом большой, места всем хватит, — говорила она.

Вообще поясница у нее вряд ли болела, просто очень уж ей хотелось невестку. И не какую-нибудь, а соседскую дочь, веселую, красивую работящую Гузель.

Как и я, мать ревностно приглядывала за ней, ловила все, что говорили про Гузель люди. Если кто-то из женщин, загадочно улыбаясь, шепнет ей на ушко о юном бригадире и первой красавице села, мать засияет, перевяжет платок по-молодому, на затылок, и начинает звенеть самоваром. Соседкам только того и надо. В последнее время самовар в доме гудел все чаще, благо вода в роднике не иссякала, и мать, несмотря на невзгоды, хорошела лицом в блаженно-мечтательной улыбке.

* * *

Молодежь нашей деревни на гулянья и вечерки всегда ходила охотно, но никогда я не видел среди нее учителей.

Они приходили в клуб на торжественные собрания или самодеятельные спектакли, играли на гармони или мандолине на концертах, но чаще — у себя дома. Может быть, считали, что им не к лицу петь и плясать вместе с молодыми, что на гулянье они, чего доброго, потеряют свой авторитет. А уж о том, чтобы бродить с гармошкой по улице или прийти в чей-то дом на посиделки — и речи не могло быть.

Совсем другим был учитель взрослых Радуга. Его скрипку можно было услышать то на одном конце села, то на другом. На ее голос в клуб спешила вся молодежь, и Радуга играл без перерыва, не давая отдыха своим тонким и длинным пальцам. Вместе с парнями и девчатами шел к кому-нибудь вечерять. Но от этого в деревне не стали относиться к нему с меньшим почтением. Все понимали, что он, вчерашний школьник, еще очень молод. И что кроме пиджака с брюками, единственной рубашки и скрипки ничего у него нет.

...А время шло. Необычно рано легли в тот год вдоль улиц пышные и глубокие сугробы, но и они не смогли помешать Радуге ходить к своим ученикам. И песни над заснеженным селом тоже не смолкали. За молодежью в клуб потянулись женщины, чьи сыновья и мужья воевали за Родину или уже сложили за нее головы. Здесь, отводя душу, пели они песни — одна грустнее другой: «Пламя», «Как птицы», «Рамай», «Сарман».

В один из вечеров Радуга играл в клубе особенно долго. В основном это были старинные песни, протяжные и печальные, от которых размягчалась душа и совсем не хотелось устраивать хороводные игры. Скрипку слушали затаив дыхание не только молодые. В толпе, плотным кольцом окружившей его, Радуга узнавал своих учеников. Незаметно вечер вылился в концерт скрипача, как теперь сказали бы, сольный.

— Ей-богу, руки у этого парня золотые, — послышался голос хромого конюха Нигматьяна, когда Радуга, закончив одну песню, еще не успел начать следующую. — И имя-то ему дали точное. Сверкает как радуга...

— Радуга — она и есть Радуга, — перебила его, хитро улыбаясь, молодая Гульбагида-апай, муж у которой погиб в самом начале войны, и боль уже не так остро жгла сердце. — Только и знает светить, а не греть. Такая в мороз появляется вокруг солнца, а тепла от нее — сколько ни жди — не дождешься... — И она засмеялась раскатисто, точно в нетерпении подала голос яловая кобылица.

Подталкивая друг друга локтями, вдовы смущенно хихикали. И ладно. Пусть смеются. Кто сказал, что вдовы должны всю жизнь плакать и на судьбу жаловаться? Нет такого закона!

...С того дня и прилепилось к нашему гостю это прозвище — «Зимняя Радуга», словно клеем приклеилось — ведь в деревне никто не остается без прозвища... И не обидное оно совсем, только вот холодом от него веет. Скажешь «Зимняя Радуга» — и сразу перед глазами радужное марево, что бывает на небе в лютые морозы перед бураном. Нет, неправда, разве не согревает людей музыка? Разве не оттаивают от нее даже самые холодные сердца? Или я еще чего-то не понимаю: может, даже самая красивая музыка не спасает от одиночества?..

Скрипка Радуги уже покорила все село, но сам он попрежнему не раскрывался на людях, оставался неразговорчивым. Только с братом моим они стали большими друзьями, и я очень гордился этим, как впрочем, и тем, что приехавший в деревню учитель, получивший прозвище «Зимняя Радуга», жил у нас в доме. Я не знаю, изменилось ли, потеплело ли его строгое лицо за то время, что он жил у нас, но теперь Радуга казался мне красивее, чем тогда, когда я увидел его в первый раз. Наверное, потому, что я успел его полюбить.

Прозвище скрипача за один вечер стало известно всей деревне, но Радуга, услышав, как его называют, не обиделся, как нередко бывает, лишь грустно засмеялся.

В те дни парней в нашем селе оставалось уже совсем немного — почти всех увела от дома война, а вот симпатичных девушек подрастало все больше. Но ни на одну из них Радуга не заглядывался, хотя робким он не был. Да ведь и любой робкий, если б влюбился, рано или поздно нашел бы выход из положения. Во всяком случае, об этом все равно узнала бы вся деревня. Нет, Радуга не торопил своих чувств, и было похоже, что душа его всецело принадлежала одной музыке. Правда, когда перед сном они переговаривались с братом, я слышал знакомые имена девушек, и чаще других — Гузели. Я радовался, если это имя называл брат, но не хотел, несмотря на свою симпатию, чтобы его произносил Радуга.

Наверное, учитель из Турумбетова догадывался, что половина девушек нашего села влюблена в него. И вдовы были влюблены тоже. Это сразу бросалось в глаза на вечерах в клубе, когда они, вздыхая, поглядывали на него, и как

только он касался смычком струн, шли танцевать, подолгу притопывая перед ним. Без всякого повода ласково обращались к нему по имени. Какая-нибудь из тех, что посмелее, пыталась кокетничать с Радугой, но вскоре, обиженно поджав губы, ни с чем отходила в сторону. А дома в футляре скрипки наш постоялец неожиданно обнаруживал появившиеся словно по волшебству белые как снег пуховые перчатки, красивые вышитые платочки...

Да, многие смотрели на него влюбленно... и даже Гузель, которую я ревновал ко всем, усердно перехватывая направленные на нее взгляды.

Я заметил это однажды в клубе: лишь в самом начале переглянувшись с моим братом, она весь вечер не сводила глаз с Радуги.

И дома, на вечеринке, Гузель сидела на лавке рядом с братом, а сама все время смотрела на скрипача...

Ревность захлестнула меня с головой, и теперь мне казалось, что даже к матери Гузель заходит не по делу, а только чтобы лишний раз увидеть Радугу. Когда она появлялась на пороге с приветливой улыбкой, я поворачивался к ней спиной.

Мне было странно, что брат не замечает этого и дружба между ним и учителем крепнет все больше.

Радуга не предпринял никаких попыток объясниться с Гузелью, да и она не заговаривала с ним о своем чувстве. И я стал думать, что мне, как пуганой вороне, все это только показалось.

...Три месяца учительствовал в нашей деревне парень из Турумбетова. Три месяца вечерами его скрипка заставляла трепетать сердца, плакать вдов, притягивала нежные девичьи взгляды. Три месяца та же скрипка заставляла плясать так, что полы в клубе ходили ходуном. С музыкой легче было пережить горе, голодную зиму, лишения.

Потом пришли повестки — одновременно моему брату, учителю взрослых Радуге и еще пятерым их ровесникам.

Морозным февральским днем, таким морозным, что вокруг солнца образовалась радуга, они прощались с селом. Я запомнил, как тронулись сани и Радуга, в белоснежных пуховых перчатках, заиграл одну из самых любимых у нас песен.

...Откуда-то с околицы ветер принес последний всплеск мелодии, и все смолкло.

...Из тех семерых в село возвратилось только трое. Самой большой радостью для меня было, что один из них — мой брат. Остальные пали в смертельной схватке с врагом. Парень, приехавший учить малограмотных взрослых и музыкой заставивший трепетать сердца молодых и пожилых, не вернулся ни в нашу деревню, ни в Турумбетово.

* * *

Гузель, быстро справившись с собой после неосторожных слов моих, с особым усердием потчевала гостей. Улыбка гостеприимной хозяйки уже не сходила с ее лица, но в глазах пряталась незатихающая боль, идущая из самой глубины души.

Задумчив был и мой брат, закаленный в сражениях солдат, грудь которого украшали многие ордена и медали, счастливо проживший с любимой три десятка лет.

Задумчивы были и гости.

Звуки скрипки, случайно ворвавшиеся в окна тихим летним вечером, всколыхнули в нас воспоминания тех далеких суровых лет.

УЗДЕЧКА С МЕДНЫМИ БУБЕНЦАМИ

Люблю звон бубенцов... Какими чувствами захлестывает он меня, поднимая их из глубины души! В этом звоне я мучительно ищу призрачный причал страны моего детства...

Нет, мало сказать «люблю», я весь пронизан необъяснимой тоской и... жизнеутверждающей силой их голоса, и самое удивительное — это противоречие рождает самую высокую, самую совершенную музыку моей жизни.

По-разному воспринимает звон бубенцов мой обостренный слух.

...Вот их неистовство под дугой горячих скакунов заряжает и меня молодой лихой силой, той, что быстрее гонит кровь по жилам, наполняет какой-то безотчетной удалью и неуемным желанием плясать так, чтоб пол ходуном ходил, до упаду — словно попал я невзначай на чью-то свадьбу.

...Иногда, едва различимый за дальними перевалами, слабый звон вдруг покажется мне чьей-то мольбой о по-

мощи, и такой жалостью сожмет сердце, что захочется немедленно броситься на этот зов...

...А когда я смотрю телевизионные репортажи из огнедышащих точек планеты, где все звуки жизни перекрывает вой летящих к земле бомб и свист снарядов, как важно мне услышать песню медных колокольчиков под дугой, этот вызов злу и насилию.

Но чем дольше я живу, тем чаще окликают меня сквозь щемящий звон, словно журавли из недосягаемой выси, мое детство, моя юность и первая моя любовь. И неумолкающая мелодия бубенцов для меня — уже как позывные тех невозвратно ушедших лет...

То было в самую трудную пору, переживаемую народом и страной. Война увела из аула уже почти всех мужчин. Для меня же окружающий мир состоял пока из неясных пятен неба, лиц родителей и невнятных звуков. Еще не утратившие утробной влажности, мои глаза не различали цветов, но тревожный звон бубенцов, наверное, впервые заставил меня вздрогнуть, когда, взяв меня, туго запеленатого, на руки, мать вышла провожать отца на фронт. Видимо, он навсегда запечатлелся в моем сознании, иначе почему до сих пор меня так тревожит звон бубенцов.

...Говорят, наш аул провожал своих сынов на войну на тридцати подводах. Оставшимся в живых хватило бы пятнадцати, да и те вернулись не сразу.

...Стоило нам, мальчишкам, услыхать знакомые звуки, доносящиеся с дороги на станцию, как мы, сверкая черными пятками, неслись за деревню им навстречу. Немного отставая, бежали девчонки с прыгающими по плечам тонкими косичками. Следом за ними, охая и причитая, с трудом передвигая корявые ноги, спешили старухи.

Так повторялось каждый раз, когда бубенцы возвещали о чьей-то сбывшейся надежде. Под их заливистый звон телеги въезжали в аул, и в домах, над которыми витало магическое: «Вернулся!», радости не было конца.

Кто-то плакал от счастья, кто-то от горя...

Я бегу и беззвучно глотаю слезы, а они все текут и текут, оставляя на щеках светлые дорожки. Ни позавчера, ни

вчера лошади не привезли моего отца. «Папа, папочка! Неужели тебе не хватило места на телеге? Вот и сегодня на ней едут другие, а тебя нет. Неужели ты не соскучился по мне?..»

— Плакса! Плакса! — слышалось за моей спиной. Это старался лупоглазый Шагали. Ему хорошо, его отец не уезжал на войну. А вчера, живой и невредимый, вернулся с фронта старший брат.

— Плакса! Плакса! Лопоухий! — стараясь угодить Шагали, дразнили меня его приятели.

Единственным местом, где меня никто не видел, был берег реки, и там я частенько отводил душу. «Если бы мама была жива... — думал я, кидая камешки в воду. — Если бы не эти мешки с зерном, из-за которых она надорвалась... Мы бы вместе ждали отца, и я бы тогда так не плакал...»

...И сегодня подводы не привезли моего отца. И на другой день, и на третий, и в последующие неистовый звон бубенцов, врывающийся в аул, не обещал мне встречи с отцом.

— Эй, плакса! — изводил меня лупоглазый Шагали.

— Плакса! Лопоухий! — не унимались его дружки.

Дни шли за днями. Все реже теперь приезжали со станции фронтовики. Постепенно умолкли радостные звоны, а отец так и не вернулся.

— Не плачь, сынок, — утешала меня бабушка, с которой мы остались вдвоем. — Может, еще дождемся...

— Не горюй! — гладил по голове шершавой ладонью кузнец Ситдик, три года назад вернувшийся с фронта на деревянной ноге.

— Не плачь, Фаргат, — говорила мне младшая дочь Ситдика Нафиса, быстроногая и рассудительная девчонка.

— А я и не плачу, — шмыгнув носом, старался я скрыть слезы.

— Вона, вона полетели пташки, — дурашливо указывал куда-то пальцем дедушка Исянбай и первый начинал смеяться над своей незатейливой прибауткой, пытаясь как то развеселить меня.

Я тоже улыбался, чтобы старику было приятно.

Только однажды слух мой снова уловил звон бубенцов. Пленительно-нежный, мелодичный, он слышался все ближе и ближе. Ну конечно же, это едет мой отец! Только для него могут так петь колокольчики! Я даже зажмурился, стараясь представить встречу с отцом, которого никогда не видел. Вот он, красивый, сильный, с медалями на груди, спешит ко мне...



Но и на этот раз меня ждало разочарование. Вдоль улицы, по-лошадиному ржа и взбрыкивая на ходу, бежал Шагали, запряженный в маленькую разукрашенную тележку. В тележке сидел его младший братишка, а на самом Шагали была уздечка с бубенчиками, издававшими непривычный для слуха звон.

Позабыв обо всем, я помчался за ними. Даже мысль об отце в эту минуту куда-то отступила. А догнав, только и смог выдохнуть: «Ах!» До чего же красивая уздечка была на Шагали! Свитая из разноцветных шелковых нитей, переливающаяся всеми цветами радуги. И всю ее унизывали маленькие бубенчики, между которыми трепетали столь же удивительные шелковые кисточки.

Маленькая тележка — я знал — была куплена на базаре, но никогда еще я не видел в нашем ауле таких чудесных уздечек. Наверное, только сынки немецких баев [1] и могли играть ими, ведь старший брат Шагали привез ее из Германии.

— Но-о! — кричит удобно устроившийся в тележке братишка Шагали и, дергая вожжи, заливается счастливым смехом.

— И-го-го! — ржет, переходя с рыси на галоп, окончательно вообразивший себя волшебным конем Дуль-Дулем [2] лупоглазый Шагали.

Разноцветные шелковые кисти раскачиваются на бегу, весело и беспечно звенят маленькие бубенцы на трофейной уздечке.

— Надень на меня?!

— Я тоже хочу быть конем!..

— Впряги и меня! — умоляют Шагали мальчишки, коекак поспевающие за ним.

Устав, он останавливается передохнуть и свысока оглядывает запыхавшуюся ватагу:

— Что дадите, если впрягу?

Какое-то мгновение все молчат. Каждому жалко расставаться с любимой вещицей, но желание пробежать по аулу в красивой упряжке все же сильнее. И через минуту в карманы Шагали начинают стекаться сокровища: жестяная ручка без пера, медная пятикопеечная монета, кнопка, оторванная от объявления в клубе, рогатка, один погон, зеленая звездочка... Его братишка уже лениво жует над-

---

[1] Богачей.

[2] Конь в башкирских сказках.

кусанную с одной стороны творожную ватрушку, в то время как бывший ее обладатель, отвернувшись, сглатывает слюнки.

С большой неохотой Шагали надевает уздечку на того, кто уже заплатил ему дань, и срывает ее, едва очередной «конь» минует в блаженном беге два дома.

— ...И на меня тоже... — невольно произношу я, умоляюще заглядываю в глаза Шагали, которые, кажется, вот-вот выкатятся от самодовольства.

— Уматывай, плакса! Ты-то чем платить станешь?

— К обеду я тебе пирожок принесу...

— Ха-ха... Сам жри пирожки из гнилой картошки!

Еще не потеряв окончательно надежды попасть в число счастливчиков, я лихорадочно перебираю в уме все, чем мог бы рассчитаться с Шагали. Я же умею плести! Как же я сразу не вспомнил!

— ...Я сплету тебе из камыша пожарную каланчу...

— ...которая через два дня развалится? Катись отсюда!

И Шагали с видом великого благодетеля вручает уздечку тому, чья дань имеет бо́льший практический смысл. Потом, заметив Нафису, в нерешительности стоящую в стороне, кричит:

— Иди сюда, Нафиса, я тебя за просто так покатаю.

Девочка колеблется, но устоять против такого соблазна не может. Я вижу, как, смущаясь и робея, она забирается в разукрашенную тележку, и непонятная злость закипает во мне, вызывая дрожь и обжигая лицо.

«Ну ладно, — шепчу я, заставляя себя повернуть в другую сторону. — Пусть теперь лупоглазый Шагали плетет тебе пожарные каланчи!..»

Но, пройдя два дома и оглянувшись, я слышу, как Нафиса просит разошедшегося «скакуна» остановиться. Быстро выпрыгнув из тележки, она догоняет меня и молча шагает рядом.

Моя обида мигом улетучивается.

— Давай я сплету тебе из камыша еще одну пожарную каланчу?

— Зачем, ведь ты уже сделал мне две.

— Тогда нырну в самом глубоком месте озера и вытащу красивую ракушку?

— Нет, не надо... Я ужасно боюсь, когда ты ныряешь и долго потом не выныриваешь...

Мне даже нравится, что Нафиса заставляет себя упрашивать. И вообще, ни одна девчонка не умеет так уговари-

вать, как она. Я сам удивляюсь, что так легко соглашаюсь с ней.

— А хочешь, выложу лошадь на песке из разноцветных камешков?

И я целый час создаю мозаику, изображающую фигуру лошади и уздечку на ней, испытывая восторг от присутствия и внимания девочки.

Но когда мы возвращаемся в аул, в узком переулке меня снова останавливает знакомый перезвон:

— Зен! Зен-зен...

Это носится в своей уздечке Шагали, сопровождаемый дружками. И снова обида и зависть переполняют меня, и, не выдержав, я говорю Нафисе:

— Вот выслежу вечером, куда Шагали кладет уздечку, и утащу ее!

— Нет, воровать нельзя, — рассудительно произносит она, и я не могу ей возразить.

— Ночью я буду катать тебя на тележке по всему аулу, а на рассвете положу уздечку на место, — перестраиваюсь я на ходу.

— Все равно нельзя, — качает головой Нафиса, и ее строго-непреклонный вид гасит мой бездумный порыв.

...Утром я проснулся в слезах. Бабушка и явившийся спозаранку лапотник дед Исянбай выжидающе смотрели на меня.

— Что с тобой, сынок? — спросила бабушка.

— Мне приснилось, что папа вернулся. И уздечку с бубенчиками привез...

Ничего не ответив, бабушка отвернулась, и я заметил, как еще больше сгорбилась ее спина. А дед Исянбай, вздохнув, положил руку мне на плечо и сказал коротко: «Пошли!»

...В избе старика крепко пахло мочалом. Примостившись на нарах, Исянбай стал ловко снимать с липового корья тонкие, почти прозрачные, отливающие голубизной лыковые полоски и подавал их мне. По красоте они ничуть не уступали шелковым лентам.

Домой я вернулся с огромной охапкой свежего пахучего лыка. Бабушка только всплеснула руками и, охая, полезла доставать с полки какие-то бумажные пакетики, похожие на те, в которых обычно хранят всякие порошки. Но то были не лекарства, а натертые ею самой краски. Вот так ба-

бушка! Значит, у меня будут разноцветные ленты!

В эту минуту кто-то тихонько позвал меня:

— Фаргат...

Я оглянулся и увидел замершую в дверях Нафису.

— На, возьми, сестра недавно прислала, — она протянула мне два небольших клубочка шерстяных ниток. — А то нэнэй [1] сказала, что ты опять сильно плакал. И вот еще... Папа велел тебе передать... Сделаешь колокольчики.

Я взял из ее рук пилотку с блестящими латунными гильзами от автоматных патронов, единственными трофеями, привезенными с войны кузнецом Ситдиком.

Так за каких-то полдня я стал настоящим богачом.

Тонкие ленточки лыка мы с бабушкой покрасили в разные цвета и потом высушили их. А уж вить-то я мастер! Свиваю четыре ленты вместе, и выходит один радужный жгут, такой яркий, что в глазах пестрит. Здорово получается!

Когда жгута уже оказалось достаточно для уздечки, я не выдержал и помчался в кузницу. В карманах моих позвякивали гильзы и маленькие, чуть крупнее просяного зерна, свинцовые шарики — дробь от охотничьих патронов, подаренные сторожем колхозной фермы Галлямом.

— Да ты, я гляжу, со всем арсеналом явился, — увидев мои сокровища, улыбнулся дядя Ситдик. — Ну что, Фаргат, пусть теперь у этих гильз будет другая, мирная жизнь, правда? Распилим мы их пополам, дробинки внутрь повесим на проволочке — и пусть себе звенят на твоей уздечке!

Скоро у меня уже была яркая, как радуга, уздечка, сплетенная мною самим. Ее украшали пушистые шерстяные кисточки, которые бабушка сделала из ниток, подаренных Нафисой, а рядом с ними тонко звенели обретшие голос половинки гильз, превращенные руками дяди Ситдика в маленькие бубенчики. И внутри у меня все звенело и ликовало.

— Дзинь-дзинь... Зен-зен-зен...

Я впрягся в двухколесную тачку, на которой бабушка возила из леса дрова, и помчался к Нафисе.

— Давай я привезу тебя с фронта?

— Ты что, дурачок, разве девочек с фронта привозят?

— А откуда же их привозят? — растерялся я. — И куда?

— Если хочешь знать, девушек везут к себе домой.

— Так давай я тебя привезу домой?

[1] Бабушка.

— Вот дурачок! — засмеялась Нафиса. — Ты же еще маленький!

Маленький... А то, что сама меньше меня, забыла. Но уж точно: маленькие, маленькие эти девчонки, а говорят только умные вещи. А за «дурачка» я вовсе не обижаюсь, я знаю, что Нафиса называет меня дурачком просто так, по-дружески.

— Тогда я тебя покатаю.

— Хорошо, покатай, — вскинув брови, отвечает она и поудобнее усаживается в тачке. — Но-о, проворная! — дергает разукрашенную уздечку.

И я несусь по улице аула, как лихой конь, поводя головой и издавая пронзительное ржанье.

Минут через десять уже почти все мальчишки нашей улицы бегут следом за мной.

— Дай и мне, Фаргат!

— Фаргат, мне тоже! Сахар дам пососать!

— Я тоже хочу... У меня свисток есть...

Душа моя взлетает под облака, голос звучит звонче всех. Конечно! Разве мне жалко! Впрягайтесь по очереди все! Садитесь в тележку девчонки! И ничего мне не нужно, ни сахара, ни свистков, хотя у меня нет ни того, ни другого.

Но разве мог я, окрыленный радостью и в то же время видящий завистливые взгляды мальчишек, у которых не было никаких игрушек, потому что их отцы тоже не вернулись с фронта, остановиться только на этом! Руки сами тянулись к делу, а сердце повелевало. И вот через два дня уже пятеро мальчишек мчались по улице села, звоня самодельными бубенцами. И перед нашей немудреной упряжью померкла вдруг трофейная немецкая уздечка Шагали, словно обветшала и выцвела на глазах. Слащаво-нежный голос чужеземных колокольчиков, не мог пробиться сквозь дружный хор наших, отчаянно-радостных, самодельных.

И принялись мы «возить» «демобилизованных фронтовиков». Вихрем врывались в аул:

— Дзинь-дзинь-дзинь!..

— Зен-зен...

Все взрослое население аула, как будто мы и вправду везем бойцов, начинает подыгрывать нам:

— Вон, едут!

— Вернулись, сынки!

— Милости просим, родимые! — И многие утирали слезы.

Но Нафиса почему-то не любит встречать «понарошку». Куда больше нравится ей просто так кататься в тележке по улице. Только однажды она прибежала сама не своя:

— Ты знаешь, Фаргат, оказывается, девушек с войны тоже привозят!

Это сын сторожа дяди Галляма вернулся домой с очень красивой тетей Любой, которая на фронте была санитаркой.

— Так давай, Нафиса, я тебя тоже привезу?

— Ладно, Фаргат, привези.

— Дзинь-дзинь-дзинь... Зен! Зен!

С веселым звоном въезжаем мы в аул. Возле дома я останавливаюсь и распахиваю ворота. Но Нафиса натягивает уздечку:

— Поворачивай, Фаргат!

— Так ведь с фронта девочек привозят к себе, — возражаю я.

— Ты еще маленький, — засмеялась она.

— Подумаешь, большая нашлась!

И она, вздохнув, соглашается:

— Да, я тоже еще маленькая.

...Где-то далеко, за сизой дымкой туманов, осталось звенеть медными бубенцами мое детство. Лихими переборами саратовской гармошки, рассыпавшимися у девичьих окон, закончилась моя юность.

На резвых лошадях с бубенцами, исходящими неистовой музыкой, провожал я односельчан в армию. Под этот же серебряный звон отправляли на службу и меня. И встречали нас, солдат мирного времени, хорошо знакомые голоса колокольчиков.

А как пели они, когда мне доводилось везти кого-нибудь из друзей к дому невесты!

...Лишь однажды мои бубенцы потеряли голос. Не знаю, как я пережил ни с чем не сравнимые мгновения леденящей душу и сжимающей сердце тишины. Это случилось, когда Шагали с дружками выкрал гостившую в соседнем ауле у сестры Нафису и там же хотел обвенчаться с ней под никах[1] и когда, прознав про это, бросился я в погоню. Вихрем неслись лошади, но бубенцы под дугой молчали, крепко обмотанные шерстяным шарфом, связанным руками

[1] Брачная молитва.

моей любимой. Я освободил их, лишь когда Нафиса была спасена, и радостный звон вернул нам ощущение жизни, в которой все у нас было еще впереди.

Тогда я привез Нафису прямо к себе в дом, где жили мы вдвоем с бабушкой. И она уже не сказала мне, как обычно, «ты еще маленький».

Несмотря на то что я с детства любил лошадей, мне всю жизнь пришлось иметь дело с машинами. Еще в армии выучился на шофера. А потом, работая в колхозе, чего только не возил на своей «грузовушке»!

Теперь тяжелые машины водят молодые парни. А меня, учитывая мой опыт, перевели на пожарную. Кто-то даже пошутил: «На твою же любимую, «дзинь-дзинь».

Я мчусь при надобности на этой машине тушить пожар, но чаще — чтобы предотвратить его.

Когда возвращаюсь домой, меня встречает Нафиса с оравой ребятишек.

— Дурачок ты у меня все-таки, — улыбаясь, говорит она. — Неужели ты еще не устал от своих бубенцов?..

Никто на свете не произносит слово «дурачок» так красиво, как моя жена!

Нет, наверное, никогда не замолкнут мои медные бубенцы! Будут уносить меня своими печальными и восторженными звонами в неповторимую страну детства.

— Дзинь-дзинь-дзинь!..

— Ау, мое детство!

— Зен-зен-зен!

— Где ты, моя юность?..

ЗА ПРЕКРАСНОЙ АГИДЕЛЬЮ

Игрива и стремительна Агидель в своих верховьях: то рассыплет смех по перекатам, то вспенится водоворотами. Несется точно разгоряченный скачками аргамак — кажется, попробуй останови! Но сотни километров делают свое. И перед тем как встретиться с Камой, Агидель становится степенной, полноводной и глубокой.

Сколько преданий, легенд, событий, значительных и, может, не самых значительных, связано у людей с этой рекой! Да что говорить — вся жизнь с ней связана! И река тоже

могла бы рассказать о живущих на ее берегах множество всяких историй...

...На этой стороне — Башкирия, на той — Татария. Впрочем, надо еще выяснить, какая сторона «та», а которая «эта» — ведь все зависит от того, на каком берегу стоишь.

«...За прекрасной Агиделью...» И у башкир, и у татар многие песни начинаются такими словами. При этом ни одна из сторон не задумывается, что поет она про своих соседей...

А когда отчалившие от противоположных берегов лодки встречаются на середине реки, сидящие в них люди непременно окликнут друг друга:

— В «Агидель»?

— Да. А вы?

— И мы в «Агидель».

И тут нет ничего странного, потому что по обоим берегам реки простираются земли колхозов с одним названием — «Агидель».

А между тем Агидель продолжает свой путь — торопится к Каме. На берегах ее, в местах летних пастбищ, которые, как у башкир, так и у татар, зовутся джайляу, кипит работа. Вот на башкирской стороне зазвенели женские голоса — доярки спустились к парной воде мыть фляги после утренней дойки. Сквозь общий смех голос одной из них, видимо острой на язычок, выводит:

Доит пареиь молодой
В беленьком халате,
Трактористы принимают
Его за девчонку...

Остальные дружно подхватывают слова «доморощенной» частушки-нескладушки:

Эхма, Айытбай,
Чериенькие глазки,
Будешь так стараться ты.
Парии придут свататься...

И тут же со смехом принимаются брызгать на «героя» частушки, единственного среди них парня. Не в силах сопротивляться такому напору, весь мокрый и немного сконфуженный, Айытбай отходит в сторону, заставляя себя через силу улыбаться и шутливо грозить девчатам. В кустах, ивняка, отжав и развесив одежду, он вытягивается на теплой гальке. «Смеются... Ну и правильно смеются! Не мужское это дело — ходить в доярках... Был бы еще какой-

нибудь хилый, а то... Бросить все к чертям и уехать!..»

Эти невеселые мысли частенько одолевают Айытбая, хотя он и противится им. В армии он был связистом. Даже значок заслужил «Отличник-связист». И по возвращении со службы мечтал устроиться на работу по приобретенной специальности, потому что она ему нравилась. Однако ни на колхозном коммутаторе, ни в районном узле связи свободных мест пока не было, а уехать из района, оставив мать одну, он не мог. И потому его временно определили на ферму. Как ни сопротивлялся — уговорили: помоги женщинам, трудно им, то и дело доильные аппараты ломаются, мужские руки нужны.

Без особой охоты отправился туда Айытбай. Но, с детства сноровистый и работящий, вскоре и сам не заметил, как втянулся в работу доярок: не только налаживал доильные аппараты, но и наловчился выдаивать молоко, которое коровы недодавали машине, стал подменять заболевших доярок, тем более что тех и так не хватало.

— Какой молодец! Не каждая доярка так сможет, — посмеиваясь, хвалили его женщины. — И как идет это ему!

В их словах Айытбай без труда улавливал иронию. До каких же пор он будет для них посмешищем! Ведь в других местах мужчины давно работают дојрами, и не считается это зазорным. Даже орденоносцы есть, некоторые Звезду Героя получили. А тут... Самые ленивые или неумехи — и те смеются. Поэтому, наверное, их «Агидель» — отстающий колхоз.

Так думал всякий раз Айытбай, возвращаясь домой, и сам себя успокаивал: «Ничего, поработаю немного — и брошу. Даже не стану ждать, когда освободится место по специальности. Вот как только придет на ферму хотя бы одна доярка...»

Но время шло — доярок на ферме по-прежнему не хватало, и он решил «потерпеть еще немножко».

...Наступило лето, и вместе со всеми Айытбай выехал на джайляу. Теперь он уже числился штатным дояром и по надоям опережал многих женщин. Радуясь этому, Айытбай втайне надеялся, что изменится не только отношение к нему, но и женщины поневоле начнут работать лучше. А раз так, хоть не намного, но станут выше надои по всему хозяйству, — он стыдился, что их колхоз отстающий.

Но, к его огорчению, здесь, на летнем пастбище, его еще больше донимали насмешками и едкими шуточками. Особенно не унималась чернобровая пышечка Зулейха, за кол-

костями которой без труда угадывалась симпатия к Айытбаю. Нет, она решительно не могла смириться с тем, что парень ходит в доярах, да к тому же еще совершенно не обращает на нее внимания. И вообще даже не смотрит...

...Лежа в ивняке, Айытбай с грустью всматривался в противоположный берег и невольно прислушивался к щебету девушек за кустами.

— Ох и доозоруетесь, — стала отчитывать из вдовая доярка Гульгайша. — Нехорошо получается: как закапризничает доильный аппарат, так скорей: «Айытбай, выручай!», а как языки почесать охота... Ох, доозоруетесь!

— В самом деле, переборщили, кажется. Обиделся, — только что смеявшиеся девчата притихли.

А Гульгайша уже шутливо продолжала:

— Вы повнимательнее, побережнее с ним, а то прозубоскалите — и лишитесь единственного жениха. Будете ушами хлопать...

— И то правда! — подхватила одна из девушек. — У него глаза уж давно на той стороне...

— Возьмут да увезут его... в невестки! Хи-хи-хи!..

— А что ему — «Агидель» вместо «Агидели», джайляу вместо джайляу.

— Не знаю, не знаю... — уроженка татарской стороны Гульгайша лукаво улыбнулась. — Не похоже, что он туда переплывет, скорее нам невесту перевезет. Я думаю, самую красивую возьмет. Спохватитесь — да поздно будет.

— Ох и скажешь тоже мне! Услышит еще и начнет нос задирать, — кивнув в сторону кустарника, сказала Зулейха. И, вздохнув, добавила задиристо и уже нарочито громко, так, чтобы мог слышать Айытбай, — она знала, что он где-то поблизости: — Хоть некоторые наши парни и сохнут по девчонкам того берега, они ничем не лучше наших. Разве что раньше начинают кривляться да бедрами вилять. А нашим, дурачкам, только того и надо.

Слушая, как перемывают косточки ему, а попутно и другим парням, Айытбай, улыбаясь, подумал: «Хотя трубы кривые, а дым идет прямо[1]. Какие востроглазые! Когда только заметить успели. Насчет той стороны еще и сам себе до конца не признался, а они уже сообразили!»

Вот и сегодня он нашел повод, чтобы отстать от девушек. Потому что доярки татарской «Агидели» обычно по-

---

[1] Башкирская пословица, близкая по смыслу русской: «Дыма без огня не бывает».

зже спускаются к реке: хотя и живут всего лишь на другом берегу, а разница во времени — два часа. Айытбай взглянул на циферблат — одиннадцать. А там — еще только девять! Чудно́ как!

На джайляу, как правило, скоро уже всех знают на противоположной стороне: звуки по воде разносятся далеко. Но Айытбай пока ничего не узнал о появившейся недавно на том берегу совсем еще молоденькой девчонке. Посмотришь — вроде бы такая же, как все, но почему-то с первого взгляда она показалась Айытбаю особенной. Странно, он до сих пор не слышал ее голоса, ее имени, хотя доярки обоих берегов, оказавшись у реки в одно время, громко перекликаются, обращаясь друг к другу по имени.

Теперь мысли о ней, таинственной незнакомке, неотвязно преследовали его. Чуть забелеют на противоположном берегу халаты, взгляд уже невольно ищет ее, и, как только находит, непривычное волнение заставляет чаще стучать сердце. Кто же она, откуда появилась, почему он не видел ее раньше?

Однажды, повинуясь требовательному желанию увидеть ее поближе, Айытбай взял с собой из дома бинокль. В свободное время, делая вид, что загорает, он ловил подходящий момент.

Ждать пришлось довольно долго. Но наконец ему повезло! «Особенное создание», как мысленно называл Айытбай незнакомку, пришла к реке одна. На сей раз она была не в халате, а в короткой черной юбке и белой кофточке. Тоненькая и легкая, быстро сбежала к воде и пошла вдоль нее вприпрыжку. Затем небрежно скинула на песок босоножки, вошла по колени в воду и, наклонившись, стала шлепать по ней ладонью и тихо смеяться.

«Гоняет косяк мальков», — догадался Айытбай и, видя почти детскую ее радость, вдруг остро почувствовал незащищенность этой, совсем еще юной, девчушки.

Вот она, решив искупаться, сняла кофточку и юбку. В эту минуту кровь прилила к лицу парня, и, испытывая страшную неловкость, стыдясь самого себя, он быстро спрятал бинокль под полотенце и снова вытянулся на песке. «Ничего особенного», — глядя в бездонное летнее небо, внушал он себе, тщетно пытаясь отогнать мысли о юной незнакомке с другого берега. Но тут прямо над головой Айытбая раздался приглушенный смех. Шелестя полами халата и делая вид, будто не замечает его, прошла Зулейха.



На дойке девушки встретили Айытбая подчеркнутым молчанием. Только Гульгайша лукаво спросила:

— Ну как, деверь, в какую сторону плыли сегодня белые облака? — И хитро подмигнула. Доярки, отвернувшись, прыснули.

«Эта сорока Зулейха уже натрекотала», — с досадой подумал Айытбай и, холодея, вдруг вспомнил про бинокль. Но бинокль лежал, завернутый в полотенце, и парень с облегчением перевел дух. На всякий случай незаметно отнес его в люльку мотоцикла, стоявшего в стороне под раскидистым кустом черемухи, и даже накрыл ее брезентом. «Нет, обошлось, вроде не успела заметить эта трещотка, а то совсем бы пропала моя голова. Тогда хоть беги с джайляу куда глаза глядят».

На следующий день, сгорая от нетерпения, Айытбай едва дождался положенного часа и под предлогом, что нужно вымыть мотоцикл, спустился к берегу.

Но доярки татарской «Агидели» появились только перед обедом. Без смеха и шуток — видимо, торопились — быстро искупались и исчезли в прибрежных кустах. И голенастая девчонка, которой так нравилось одной бегать по воде за косяками мальков, тоже не отстала от остальных.

Поднимаясь на берег, Айытбай грустно размышлял о том, что, видимо, придумал ее, свою таинственную незнакомку. Придумал, что она какая-то особенная. А она — такая же, как и все. И надо вообще выбросить все эти мысли из головы, потому что от них одни неприятности...

Поздно вечером, пытаясь заснуть, Айытбай не мог отделаться от навязчивого видения: стоило сомкнуть веки, как перед ним, словно белые птицы, появлялись в белых халатах девушки с другого берега. И — удивительно! — днем похожая на своих подруг, сейчас та девушка снова была для него загадкой. Вот она наклонилась к воде, ее толстая золотистая коса сползла с плеча и стала полоскаться в волнах...

Прошел еще один день, и в сумерках на противоположном берегу запламенел костер. Вокруг него мельтешило много теней — видимо, к девушкам на джайляу пришли парни. Баян с зажигательной плясовой перешел на задорные припевки. Начатый девушками куплет подхватили голоса парней.

«Как у них здорово!» — с завистью думал Айытбай. Ему

хотелось перебраться на ту сторону, чтобы быть среди этого веселья. И лишь разобрав смысл припевки, которую несколько раз выводили только мужские голоса, он насторожился. Частушка была немного колкая и выражала чью-то обиду:

Ее имя Мохассана.
От нее на сердце рана,
Все никак не даст ответ:
То ли любит, то ли нет...

Частушка снова вернула его к мыслям о той таинственной незнакомке. Конечно же, это ее зовут Мохассана! Какие чудные имена есть у татар! Пришедшие из деревни парни поют, конечно, о ней и для нее, ведь раньше, пока ее не было, они сюда не приходили! Как же он сразу не сообразил! Нет, надо выбросить ее из головы!

...Днем от привычных дел его вновь отвлекла песня, прилетевшая с другого берега. Айытбай и сам не заметил, как схватил бинокль. Девушки шли плавным шагом, а впереди — таинственная незнакомка с коромыслом на плечах и расписными голубыми ведрами. Выступает грациозно, словно танцует... И чего это она нарядилась, не праздник же сегодня... В красных сапожках на каблуках, в голубом, с оборками платье...

Он смотрел и не верил своим глазам: вышитый передник, туго завязанный на тонкой талии, превратил ее из девчонки в стройную изящную девушку. А как идут ей и белый, вышитый красным, калфак [1], и блестящие серьги, и чулпы! [2] Только почему она наклонила голову в смущенной улыбке? Почему поют сопровождающие ее девушки? Подожди, так это же предсвадебный обряд, когда молодую, по обычаю, ведут, чтобы показать дорогу к воде! Догадка словно обожгла Айытбая. Та, что приглянулась ему на другом берегу — уже, оказывается, чья-то невеста... А он... Доотсиживался в кустах!.. Потерял, прежде чем успел найти...

Весь день Айытбай не находил себе места. В конце концов дал себе слово больше не приходить на берег Агидели, чтобы не видеть таинственную незнакомку, чужую невесту, чтобы зря не бередить сердце. И бинокль надо будет увезти домой...

Только не удалось ему сдержать слова. Доярки задума-

---

[1] Татарский женский головной убор.
[2] Накосник.

ли все фляги перемыть с песком. А раз так, никуда не денешься: он дояр, придется и ему выполнять эту работу.

...И вот снова, насквозь промокший и измученный насмешками девушек, он юркнул в кусты и, сам того не замечая, стал со смутной надеждой оглядывать противоположный берег.

— Айытбай-абый!

Голос этот, вызывающе смелый и неожиданный, заставил его вздрогнуть.

— Покатай меня на своей лодке!

Таинственная незнакомка в красных брючках вприпрыжку сбегала к воде, играя на ходу ивовым прутиком. Он не мог поверить своим ушам. Надо же, она даже знает его имя! И как красиво произнесла его! Но почему «абый»?

Оправившись от растерянности, Айытбай столкнул с берега лодку.

— Смотри-ка, в шутку сказала, а он уже плывет...

Айытбай отмолчался. Ему было не до шуток — он боялся неосторожным словом спугнуть ее. И, чтобы скорее достичь противоположного берега, все сильнее налегал на весла.

Но девушка ждала его. Смело шагнула в лодку, ткнувшуюся носом в мокрый песок, и, проходя на корму, даже слегка оперлась о его плечо рукой.

— Ну, здравствуй, Айытбай-абый, — ласково произнесла она, уже устроившись в хвосте, и он увидел, что глаза у нее пронзительно-голубые.

— И имя мое откуда-то знаешь, — улыбнулся Айытбай, довольный.

— А что здесь трудного-то, ведь твое имя не сходит с языка ваших девушек. — Она рассмеялась. — Наверное, очень они тебя любят. Особенно та толстушка, что все время наблюдает за тобой.

— Да не особенно жалуют они меня, Мохассана...

Девушка, широко раскрыв глаза, смотрела на него, а потом вдруг, откинувшись назад, залилась звонким смехом:

— Ой, умру! С чего ты взял, что я — Мохассана? Мохассана — это моя старшая сестра. Она уже два года как выезжает на джайляу. А я в прошлом году в техникум поступала и вот в первый раз приехала.

— Значит, ту песню ваши парни пели твоей сестре?

— Какую песню?.. А... Ну конечно! О-о, видел бы ты ее! Голову можно потерять! В деревне из-за нее прямо-таки война.

— Что, у вас парни такие горячие? А мне не достанется за то, что увез тебя на лодке?

— Ой, Айытбай-абый, такой богатырь — и боишься? — снова засмеялась она.

— Да не боюсь... — лицо парня приняло напускное серьезное выражение. — И все же лучше, когда без синяков.

Девушка продолжала поддразнивать его:

— Раз так, выходит, что боишься! Боишься, боишься, боишься! — И тут же, вздохнув, уже другим тоном произнесла: — А из-за меня еще никто не то что не подрался, даже не поссорился. Ну, разве так интересно жить, Айытбай-абый? — лукаво смотрела она на него.

— Не знаю. Я тоже еще до сих пор не подрался ни из-за одной девушки. — И улыбнулся: — Так что у нас есть кое-что общее... А теперь скажи свое имя.

— Сам догадайся!

— Мафтуха!

— Ха-ха-ха!..

— Махмуза!

— ...

Айытбай все больше раззадоривался, нарочно называя старинные, многими забытые татарские имена:

— Минуррый... Гулькагиза... Васбиямал...

— Ой, хватит, умру со смеху... Где ты откопал эти имена?!

— Ну тогда лучше сама скажи. А то найду еще древнее этих — несдобровать тебе, всю жизнь буду называть таким именем.

— Все, сдаюсь, абый-жаным! [1] Мэндуза, Мэндуза меня зовут. — И сама же добавила: — Красивое ведь имя, правда?

— Очень красивое! Я теперь его все время повторять буду!

— Опоздал, Айытбай-абый, твое имя уже пять дней не сходит с моего языка, надо мной уже подружки посмеиваются. — Щеки ее стали пунцовыми, она опустила глаза, но тут же, словно сожалея о своем откровении, спохватилась: — Имя очень красивое... Можно песню сложить.

Айытбай греб против течения и удивлялся, как легко ему с этой, почти незнакомой, девушкой. Плыли некоторое время молча. Потом он кивнул в сторону джайляу:

— Может, вернемся, Мэндуза?

---

[1] Душенька, дорогой.

— А что? Ты устал, Айытбай-абый? Ну, конечно, устал, течение очень сильное, — участливо сказала она. — Давай тогда вместе будем грести. — И, не дожидаясь ответа, прошла к нему и села рядом.

От такой ее смелости Айытбай даже растерялся. Лодка сразу потеряла плавность хода, поворачивалась носом то к одному, то к другому берегу, то одно, то другое весло поднимало над рекой россыпи брызг, и Мэндуза, беспечно смеясь, касалась волосами его плеча.

Глядя на ее тонкие руки, держащие весла вместе с его большими руками, Айытбай волновался и, стараясь скрыть свое состояние, запоздало ответил:

— Да нет, я не устал... А вот тебе что скажут, когда вернешься?..

— Кто это скажет? Пусть только посмеют что-то сказать!

— А жених?

— Жених?! Какой жених? — У Мэндузы даже взгдрогнули плечи, и она, повернувшись, изумленно посмотрела на Айытбая снизу вверх.

— Разве не тебя недавно обряжали невестой?

Мэндуза вдруг поняла:

— Ой, держите меня, а то в воду прыгну! Ну и догадливый же ты, Айытбай-абый, прямо-таки всевидящий, — от души хохотала она. — Жених для меня... еще в люльке качается. Это мы репетировали сцену из спектакля «Туй» [1]. У нас почти все доярки в самодеятельности участвуют. А я была в роли невесты. Ты, наверное, видел, как девушки привели меня за водой?

— Разве? А я подумал... — обрадовался он.

Но Мэндуза уже не смеялась. С трогательной непосредственностью она прислонилась к плечу Айытбая.

— Нравлюсь я тебе, Айытбай-абый?

— Очень нравишься, Мэндуза... С первого взгляда...

— ...Сквозь бинокль? — уточнила она едко.

Ох и зоркие же эти девушки!

— Нет, до этого еще... — начал Айытбай, краснея, но Мэндуза, повернувшись, маленькой ладошкой зажала ему рот:

— Нет, нет, не говори все сразу... А то потом нечего будет говорить...

Оба замолчали и перестали грести. Было тихо, только волны лизали борта лодки, увлекая ее вниз по течению.

— Ты тоже нравишься мне, Айытбай-абый, — не глядя

[1] Свадьба.

на него, тихо произнесла Мэндуза. И, словно сказанное прибавило ей смелости, серьезно продолжала: — Нет, нет, все это не легкомыслие вчерашней школьницы. Ты думаешь, я обратила на тебя внимание, потому что ты рослый и сильный парень? Мне понравилось, что ты никогда не вступал с женщинами в перепалки из-за их злых шуточек. Я поняла, что ты стойкий и надежный человек, а не пустозвон... Мне понравилось твое имя и всегда хотелось увидеть тебя близко. Спасибо, что ты приехал за мной...

Она уже не была той веселой простодушной девчонкой, которая может легкомысленно болтать ни о чем и без конца смеяться. «Вот тебе и ребенок!» — думал Айытбай. А вслух произнес:

— Нашла стойкого...

— Да, стойкий, — горячо убеждала Мэндуза. — Доить коров — не просто! Я поняла, что это очень тяжелая работа, только когда сама поступила на ферму. Хотела убежать, да стыдно было... Потом привыкла. А теперь не жалею нисколько.

— И я... — неожиданно для себя сказал Айытбай и смутился.

— А мужчине быть дояром особенно трудно: то, что женщине сходит с рук, ему ни за что не простят. Сколько нужно терпения, чтобы выдержать одни насмешки.

Она говорила, а Айытбай в эти минуты испытывал головокружительное счастье. Ему было очень хорошо с этой удивительной девушкой, он радовался, что она понимает его и доверяет ему, хотя сегодня у них только первая встреча... А ведь если бы не его работа, он вряд ли встретил бы Мэндузу! Да-да, та самая работа, которую вначале он хотел бросить, из-за которой — уже позже, привыкнув к ней, — терпел столько насмешек и которая в конце концов подарила ему эту встречу.

— Спасибо тебе, Мэндуза!

— Айытбай-абыйым, мне-то за что спасибо?

— Да, тебе... За то, что на том берегу Агидели есть ты... За то, что позвала меня...

— Нет, это тебе спасибо... За то, что ты есть на том берегу, что приехал за мной. — И она доверчиво и осторожно склонила голову к его плечу.

...Они смотрели, как плещется о борта лодки пронизанная солнцем вода, как уплывают назад берега, поросшие зеленым кустарником, а видели лишь друг друга. И только услышав за спиной голоса, поняли, что река потихоньку

вернула их к месту их летних лагерей. С обеих сторон доярки двух «Агиделей» уже махали им руками и смеялись.

Словно очнувшись, Мэндуза выпорхнула из-под руки Айытбая и оказалась в хвосте лодки.

— Ну девчата!.. Теперь они покоя тебе не дадут, — сказал Айытбай, стараясь скрыть свое смущение.

— Пусть только попробуют. Кинусь в Агидель... и переплыву к тебе... — краснея, сказала она. — Заступишься ведь, Айытбай? — вот и она произнесла его имя, уже не прибавляя слова «абыйым».

— Конечно... Заступлюсь... — ответил парень вслух, а про себя подумал: «Ну а наши-то, они-то что со мной сделают!.. Рта не дадут открыть. Не отобьешься! Ну и пусть!..»

Кто-то из девушек татарской стороны, словно прочитав его мысли, крикнул:

— Не падай духом, Айытбай!

На обоих берегах засмеялись.

У девушек башкирской «Агидели» сразу же нашлась подходящая частушка:

Цветами выложу дорогу —
Моя любовь на том берегу...

С татарской стороны дружно подхватили:

Моя любовь на том берегу,
Переправлюсь я к ней вплавь...

И, кончив куплет, кто-то из девушек крикнул:

— Айытбай, не утруждай себя, не вези ее к нам, вези сразу к себе.

— Правильно! — поддержала башкирская сторона. — Давай свою ненаглядную к нам насовсем. У нас доярок не хватает!..

Тогда на татарском берегу спохватились:

— Нет, нет, Мэндуза, сама его к нам веди!

— У нас самих парней не хватает, — ответили с башкирского берега.

— Такие умелые и ловкие, как Айытбай, нам очень нужны! Вот-вот, к нам повернули! Молодец, Мэндуза, давай его к нам!..

Девушка, потупившись, смущенно молчала. Была она необыкновенно красивой в эти минуты. Потом, прижав ладони к пылающим щекам, тихо, словно боясь, что ее могут услышать, прошептала:

— А мы не будем обращать внимания, Айытбай-абыйым... Приезжай за мной и завтра, хорошо? И послезавтра... И потом, каждый день...

— Хорошо, Мэндуза! Каждый день... Всегда...

И уже через несколько дней над рекой зазвучали новые припевки:

За прекрасной Агиделью
Полощет белье Мэндуза.
Любить — так любить,
Чтоб не разлюбить никогда, —

доносится с башкирского берега.

...За прекрасной Агиделью
Доит коров Айытбай.
Любовь его глубже
Даже самой Агидели, —

словно эхом отвечает другой берег.

На каком берегу в скором времени будет полоскать белье Мэндуза? На каком берегу будет доить коров Айытбай?

СОДЕРЖАНИЕ

Фарит Ахмадуллович Исангулов

ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
Повести и рассказы

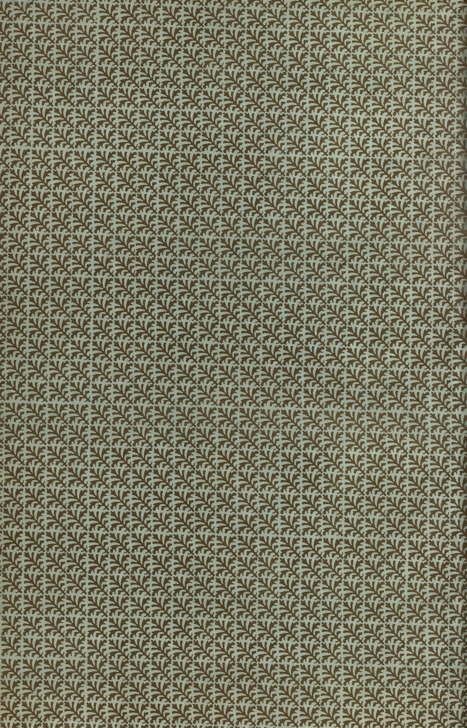
Редактор Е. Корнеева
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор В. Котова
Корректоры В. Дробышева, О. Червякова

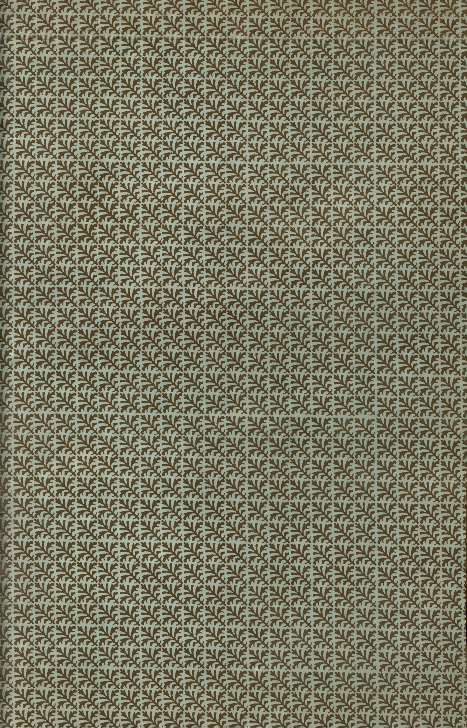
ИБ № 3760
Сдано в набор 11.05.86. Подписано к печати 11.08.86. А12688. Формат $84 \times 108/_{32}$. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,77. Уч.-изд. л. 9,82. Тираж 60 000 экз. Заказ 66. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с матриц типографии № 2 Росглавполиграфпрома, 152901, г. Андропов, ул. Чкалова, 8 в Рязанской областной типографии. 390012, г. Рязань, ул. Новая, 69/12.

Заказ 3154







80 коп.